



НОВАЯ ПОЛЬША 7-8/2009

Содержание

1. ЕСТЬ ТАКИЕ ВЕЩИ, КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ НЕ СДЕЛАТЬ
2. «ЧТО Я УЗНАЛ О ПОЛЬШЕ И ПОЛЯКАХ В ХОДЕ
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 1989 года?»
3. НЕПОКОРНЫЙ
4. ГЕНЕАЛОГИЯ НЕПОКОРНЫХ
5. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
6. ФАДДЕЙ ЗЕЛИНСКИЙ В ПЕРЕПИСКЕ С МЛАДШЕЙ ДОЧЕРЬЮ
АРИАДНОЙ
7. СТИХОТВОРЕНИЯ
8. ЗАПИСКИ ПОЭТА
9. КАЗИМЕЖ ВЕЖИНСКИЙ
10. КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА
11. ВИТОЛЬД ЛЮТОСЛАВСКИЙ — ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МУЗЫКИ
12. СИМВОЛ И ФОРМА
13. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

ЕСТЬ ТАКИЕ ВЕЩИ, КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ НЕ СДЕЛАТЬ

Виктор Кулерский, один из лидеров подпольной «Солидарности», баллотировался на первых «полусвободных» выборах в сейм 1989 года. Он представлял свой родной город Грудзёндз. Ниже мы публикуем интервью Виктора Кулерского, впервые напечатанное в специальном издании к 20 й годовщине этих выборов, а также его заметку, напечатанную в журнале «Знак» в июле 1989 г., т.е. вскоре после выборов.

— Как получилось, что вашу кандидатуру выдвинули на тех выборах? Я спрашиваю, потому что известно несколько версий...

— Я работал тогда в библиотеке Варшавского университета, в отделе предметного каталога. Работу я получил благодаря смелости и упорству проректора Анджея Тымовского, который спустя некоторое время после моего выхода из подполья пробил мое зачисление на работу.

— А вы, как известно, скрывались дольше всех из лидеров подпольной «Солидарности»...

— Мы вместе с Яном Литыньским вышли из подполья 30 сентября 1986 года. Сделали мы это на пресс-конференции, организованной у Эвы Милевич дома, в присутствии западных журналистов. После почти пяти лет подпольной деятельности мы перешли к деятельности открытой. Разумеется, в тот момент я оказался безработным, без продовольственных карточек и без перспектив на нормальную жизнь. В школу меня не хотели взять даже ночным сторожем или кочегаром. В конце концов меня взяли в университет, но с оговоркой, что я не должен иметь контактов с молодежью. Отсюда этот предметный каталог. Для меня — идеальная работа. Я обрабатывал книги по тем областям, которыми увлекался, то есть по биологии, истории, истории искусства. И был очень доволен этой работой. В один прекрасный день мне говорят, что в холле библиотеки меня ждут какие-то люди. Наверно гэбуха, подумал я, потому что в тот период они всё время за мной ходили и ездили. Сопровождали на работу и обратно. За мной всегда медленно ехала машина. Неприятное чувство: идти по темным улицам — а я жил, как и сейчас, в Мендзылесье, на окраине столицы, — когда сзади светят их

фары. Ну я спускаюсь вниз, а там вместо гэбэшников делегация из Грудзёндза. Мне кажется, что среди этих людей был и Витек Красневский, мой будущий друг, который стал потом руководить предвыборной кампанией в Грудзёндзе.

— Он говорит, что познакомился с вами только на конвенте в Торуни.

— Возможно, в той группе его действительно еще не было... Человеческая память все-таки ненадежна. Так или иначе, но тогда мне и предложили быть кандидатом. Для меня это было полной неожиданностью. Желания такого у меня не было, а отказать было трудно. Я обратился за советом к отцу.

— В прошлом секретарю Миколайчика и члену Национального совета — эквивалента парламента в изгнании.

— Человеку, который прошел через многое и неплохо узнал коммунистов. «Если приехали из Грудзёндза, — сказал он, — значит, помнят и питают доверие к нашей семье. И у них нет никого другого. Нельзя, чтобы ты им отказал, оставил ни с чем». Потом оказалось, что они вроде бы вышли на меня только с третьего раза. Искали через Куроня, Вуеца, в конце концов добрались как раз до отца, и он их направил в библиотеку.

— А вы бывали в те времена в Грудзёндзе?

— До «Солидарности» — редко. У меня там жили родные. Это были эпизодические семейные встречи. Во время военного положения пани Кароле Сковронской, директору городской библиотеки, пришла в голову мысль присвоить библиотеке имя моего деда, издателя «Газеты Грудзёндзской». Я не мог приехать, потому что скрывался, но на торжество отправился мой брат, которого немного раньше выпустили из Бялоленки. Однако гэбэшники задержали его где-то на подъездах к Грудзёндзу. Но во время предвыборной кампании, если вы меня об этом спрашиваете, мне было где жить в родном городе.

— Избирательный конвент в Торуни вы помните?

— Надо было кратко о себе рассказать. Меня там как бы легализовали. Остальных делегатов «благословил» наш центр, где специальная комиссия просвечивала кандидатов, контролируя, чтобы в наши списки не попали люди из органов. А на меня указала сама местность, родной город — то есть я попал в кандидаты словно бы другим путем. По-другому я подошел и к снимку с Валенсой. Мне не хотелось

фотографироваться с ним. Сама эта затея мне не нравилась. Да, так было правильно в смысле маркетинга, и если бы я должен был голосовать по поводу этого шага, то, пожалуй, был бы «за», но для себя лично такой фотографии на плакатах не хотел. И не жалею об этом решении. Предвыборный плакат у меня был индивидуальный, сделанный на месте, в Грудзёндзе, — возможно, не очень... доработанный, но такие были времена.

— **Пора было начинать встречи с избирателями.**

— А они бывали разными. От спокойных до нервных, с вмешательством милиции.

— **Другие кандидаты об этом не вспоминают.**

— Может, им повезло или они позабыли. Я прекрасно помню, как на Рыночной площади в Броднице милиция срывала свежие плакаты, только что развешенные нашей командой. Я описал это в отчете, опубликованном в «Знаке» в июле 1989 го. Я стоял на помосте и выступал, а они окружали нас со всех сторон, проверяли у людей документы и составляли списки. Это была очевидная попытка запугать.

— **О чем вы говорили?**

— Должен прежде всего сказать, что я не верил в победу. У меня был слишком плохой опыт с коммунистами. Впрочем, не только с ними — с тоталитаризмом вообще. В течение всей оккупации наша семья по причине деятельности деда на Поморье, а потом эмигрантской деятельности отца скрывалась и переезжала из города в город. Меня часто будили ночью и спрашивали, как зовут. Мне требовалось немедленно выпалить фальшивое имя и фамилию. Таким был мой первый тренинг, обучение в семье. Потом я видел, что вытворяли с отцом после его возвращения на родину, в ходе и после сфальсифицированных парламентских выборов 1947 г., а затем после бегства Миколайчика из страны. Знаменитый процесс. И я помнил, как, меня, шестнадцатилетнего школьника, когда он сидел в тюрьме, тоже задержали, а потом ночью велели идти к Висле. Я был тогда уверен, что меня пустят в расход. А затем допросы в ГБ на Кошиковой улице. Поэтому мне было трудно поверить в успех тогдашних выборов. Но я считал, что попробовать надо. Нельзя не попробовать. И говорил: примите участие в этих выборах. Мы не знаем, удастся нам или не удастся, но, может быть, это шанс, и нам нельзя его не использовать. Мы обязаны это сделать перед нашими предками и потомками. Таким был лейтмотив моих выступлений в то время. Мой дед сидел в трех прусских тюрьмах — в Члухове,

Плотцензее и Моабите, отец — тоже в трех, только коммунистических, — на Кошиковой, на Раковецкой и во Вронках. Те поколения и работали на новое время: если бы не они, то мы, может, уже давно были бы еще одной республикой Страны Советов. Значит, если теперь открывается какой-то шанс, мы обязаны его использовать несмотря на все сомнения и неуверенность.

— Слушатели были настроены позитивно?

— Не всегда. Помню встречу в каком-то доме для пенсионеров, где, как оказалось, проживали главным образом люди, заслуженные перед «народной властью». Они жуткие вещи начали говорить, даже не стану приводить. Не дали мне заговорить. Выливали ведра помоев. Наконец, мне все же удалось вставить: «У вас тут есть потребность выблеваться. Что ж, хорошо, я буду ведром, блюйте, а я заберу собой и вынесу». Только тогда они поутихли, и началась хоть какая-то дискуссия. Бывало на самом деле по-разному. Об одной встрече в каком-то из небольших населённых пунктов под Грудзёндзом репортаж написала Ханна Краль. Случались и такие встречи, где я выступал вместе с другими кандидатами.

— А в день выборов...

— Я был как раз в США на конгрессе American Federation of Teachers (AFT), профсоюза американских учителей. И я не переживал так, как мои товарищи в Польше.

— Выборы завершились успехом. Ваши опасения развеялись?

— Верить я начал, когда объявили результаты. Пожалуйста, не удивляйтесь. За несколько дней до военного положения я был в редакции журнала «АС» [«Агентство Солидарность»], где говорили, что власть лежит на улице, достаточно её поднять. А у меня были мрачные мысли, и в конечном итоге по просьбе Хелены Лучиво я их высказал. «Они пустят нас в расход, — сказал я тогда. — Не знаю, как и когда, но нас пустят в расход».

— Так почему же теперь удалось? А может быть, не удалось, а всё это было продирижировано?

— «Круглый стол» не был продирижирован. Что случилось? Они не допускали, что так постыдно проиграют те выборы. Хотели нас втянуть, проделать с «Солидарностью» то же самое, что с другими группировками, которые в прошлом вступали с ними в переговоры. Какой была судьба ППС [Польской социалистической партии] и ПСЛ [крестьянской партии]? Здесь

должно было стать точно так же. Они думали, что им удастся нас всосать и сделать так, чтобы мы разделяли с ними ответственность. Ведь наша цель за «круглым столом» состояла в легализации «Солидарности». А наше участие в выборах было их замыслом и той ценой, которую мы были должны, вынуждены заплатить за легализацию профсоюза. Тогда это был основной и первостепенный вопрос, о чем сегодня забывают.

По мнению историка Анджея Пачковского, только Ярузельский предвидел, что получится, когда сказал: «Они поставят социализм к стенке». Другие красные в это не верили. Они сыграли за «круглым столом» ва-банк, и оказалось, что проиграли. Да и потом еще бывало нервно. Вспомните, пожалуйста, голосование в Сейме, когда президентом оставался Ярузельский. Была огромная вероятность его поражения. Что могло бы тогда случиться? Советские войска в стране, органы в их руках, армия тоже... Это была одна из самых трудных, а может, самая трудная минута в моей жизни. Я не имел права рисковать всем, чего удалось добиться, но вместе с тем не мог голосовать за него. И отдал недействительный голос. Так поступило семеро из нас. А Ярузельский прошел большинством в один голос — благодаря нашим недействительным бюллетеням. Эту атмосферу трудно сегодня понять.

— Трудно не спросить вас о тех пяти годах, когда приходилось скрываться.

— Это было так же, как с КОРОм [Комитетом защиты рабочих] и «Солидарностью»: есть такие вещи, которых нельзя не сделать, как и то, чего делать нельзя. В момент объявления военного положения я был заместителем Збигнева Буяка [председателя регионального правления «Солидарности» Мазовии]. Он поехал в Гданьск на заседание Всепольской комиссии, а я остался в правлении. После нескольких круглосуточных дежурств я хотел вымыться и выспаться дома перед тем, чего ожидал. С милицейской группой, которая должна была меня задержать, я разминулся, когда возвращался в правление, узнав, что нам отрезали телетайпы. Потом жена рассказывала, что они искали меня даже в шкафах. Так во второй раз в моей жизни начался период подполья и необходимости скрываться. А не попался я, возможно, благодаря тому, что не участвовал ни в каких компанейских встречах. Последовательно соблюдал определенные правила конспирации.

— После того как вы вышли из подполья, вас не посадили. Может быть, они все-таки в то время немного переборщили?

— О, несомненно. Меня несколько раз задерживали, допрашивали, держали в КПЗ. Один молодой, умный и образованный гэбэшник спросил меня напрямую: «Судя по тому, что мне известно, вы в отдаленном прошлом имели дело с нашей фирмой. И как выглядит сравнение?» Я ответил, что те были неандертальцы, а теперь, как видно, получше. На что он ответил: «Такие, о ком вы говорите, есть и сегодня, так что будьте поосторожнее». Профессионализма и интеллекта я у них не отнимаю. Уже в бытность депутатом, в первый же день, я встретил в Сейме генерала Кищака. Я столкнулся с ним тогда впервые в жизни и не предполагал, что он меня узнал! Поднимаюсь на второй этаж, смотрю, а он стоит и беседует с каким-то пожилым человеком. Я хотел как-то издали обойти его, а он, едва увидев меня краешком глаза, тут же попросил извинения у того пожилого господина (как потом оказалось — генерала Куропески) и двинулся ко мне с протянутой рукой. «Ох, пан Виктор, как же мы вас искали все эти пять лет!» Я отвечаю: «Жаль, что я не знал, но вы не подавали вестей. А мне не хотелось причинять вам хлопоты». Оказалось, что он знает всю историю моей семьи. Башка, как компьютер.

— Если они такие умные, то почему проиграли?

— Еще раз повторяю. Они не ожидали такого поражения на выборах. Поставили всё на одну карту. С их стороны это была игра ва-банк. К счастью для нас всех, в тот раз они сдержали слово, выполнили условия договоренности — и всё решило общество.

Беседу вел Яцек Келпинский

«ЧТО Я УЗНАЛ О ПОЛЬШЕ И ПОЛЯКАХ В ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 1989 года?»

Единственный ответ, который я могу дать «по горячим следам», как просил редактор «Знака», — это отдельные картинки, поэтому ими и ограничусь. Вот всего лишь три из многих. Они складываются в своеобразный, сугубо польский триптих анно 1989. Такими я их и привожу, ибо форма ответа была оставлена на мое усмотрение.

БРОДНИЦА

Полдень, Рыночная площадь в центре городка, распаленная от жары и пустая. Молниеносно расклеенные предвыборные плакаты издалека бьют в глаза киноварью характерных букв «Солидарности». Перед плакатами собираются кучки бродничан. Они читают свежевывешенную предвыборную программу «Солидарности». Минуту спустя из ворот милицейского участка показывается милиция. Лениво зевая, подтягивают ослабленные ремни и неспешно подходят к читателям. Начинается проверка документов и переписывание личных данных. Правонарушения? Нет, правонарушений не было ни с одной из сторон. Каждый имеет право читать предвыборные плакаты, но и у каждого можно проверить документы и выписать оттуда сведения. Только зачем фигурировать в милицейских списках? Кучки людей перед плакатами тают. Через пару минут с площади, вновь пустой и сонной, милиционеры тянутся к воротам участка. В Варшаве коллеги не хотели мне верить. Кстати, ночью плакаты были содраны — как и в других местах.

ВАРДЕНГОВО

После встречи с избирателями зал гминного Дома культуры еще полон. Чьи-то пальцы стискивают мне ладони. Склоненная женская голова опирается на мое плечо. Лица я не вижу. Зато руки... деформированные, корявые пальцы с огрубелой, растрескавшейся от работы кожей и изуродованными суставами. Женщине, должно быть, под шестьдесят. У нее сдавленный, ломающийся голос: «Избавьте нас наконец от этих

клик, что нами помыкают. Они засели везде: в кооперативах, гминах, воеводстве. Так невозможно жить. Самим нам не справиться. Помогите...» Слезы капаят на мои руки и стекают между нашими пальцами. Я молчу. Мгновение спустя она вопросительно поднимает лицо. Широко раскрытые светло-голубые глаза полны слёз. Ей не больше тридцати.

РОГУЖНО-ЗАМЕК

Сбившаяся в кучу, безмолвная толпа сельхозрабочих оживляется лишь в ответ на слова директора госхоза: «У нас тут есть еще свои дела, но их мы будем решать в своем кругу — верно, мужики? А вас мы благодарим». Рабочие явно возмутились. Однако они замолкают, когда директор встает, подавая знак, что встреча окончена.

«Неверно, пан директор, — говорю я. — Если люди хотят говорить сейчас — они будут говорить сейчас. Слишком многие дела в Польше решались в своем кругу, потому-то мы и имеем то, что имеем. Исправляться стало только тогда и там, где о делах стали громко говорить и открыто писать. Лишь мошенник, вор и преступник боятся огласки и света».

Рабочие срываются с мест. Кричат что-то, перебивая друг друга. Директор опускается обратно на стул, и снова настает тишина. На этот раз он говорит, сидя: «Ну, раз вы так хотите, раз вы им велите!..» — «Ничего я никому не велю. Люди ведь не глупые и сами знают, что делать. Захотят говорить сейчас — будут говорить. Захотят иначе — будет иначе». Тут я обращаюсь к рабочим: «Хотите разговаривать сразу — давайте говорить. Хотите сами потолковать с директором — тогда я оставлю вас с ним. Коли не договоритесь — я приезжаю завтра, и решим дело сообща». Мужики снова оживляются и советуются. Лица ожесточенные, посерьезневшие. Взвешивают ситуацию. В конце концов один встает и говорит: «Мы попробуем сами. Ежели не выйдет — позвоним вечером в межзаводской профсоюзный комитет, и завтра вы приезжайте». Ночью звонок — директора выгнали. Смиловались и не вывезли на тачке, но зато у него на шее будет прокурор. Рабочие сразу же выбрали из работников госхоза нового директора.

А теперь — возвращаясь к вашему вопросу. После таких и похожих встреч я своих взглядов не изменил. Самыми трудными были те вопросы, которые остались невысказанными и которые я задаю, в том числе и самому себе. А какие проблемы, ощущение каких опасностей повторялись чаще всего, что у поляков ближе всего к сердцу и в чем они усматривают пути выхода из экономического кризиса — обо

всем этом я после таких встреч, как три только что описанные, как-то не спрашивал.

Варшава, 23 июля 1989

НЕПОКОРНЫЙ

Текст подготовлен Агнешкой Устинской на основе бесед с проф. Богданом Цивинским в декабре 2008. Оригинал первоначальной, расширенной редакции напечатан в 58 м номере журнала «Карта». Заголовок настоящей публикации дан редакцией «Новой Польши».

Непокорные интеллигенты, выступая на борьбу, — одиноки. В этом, кстати, и заключается самая суть того, почему трудно занять такую идейную позицию.

Богдан Цивинский. Генеалогия непокорных

Я родился за шесть недель до начала II Мировой войны, в Милянуме под Варшавой. Отец был железнодорожным инженером и, замечу, человеком, получившим всестороннее образование еще до I Мировой войны. Родом он был с кресов [восточных окраин Польши], с пограничья нынешних Литвы и Латвии, но рос в глубине России, так как дед, тоже железнодорожный инженер, не имел права работать западнее Москвы. На территориях, расположенных к западу, поляков не разрешалось брать на службу на железной дороге; в результате отец рос в Саратове. Его семья принадлежала к кругам, я сказал бы, помещичье-интеллигентским. А мама была из семьи лодзинских рабочих, получила среднее образование — в своей семье она первая доучилась до аттестата зрелости.

Дом оказал на меня очень сильное влияние, особенно в тот период, когда вырабатываются ценности и убеждения, в том числе и политические. Домашнее воспитание было по существу лишено слов. Мне редко говорили, что надо делать, а чего не надо. Это возникало само собой. Теперь, когда я смотрю на это с точки зрения историка интеллигенции, мне кажется, что мое воспитание было довольно характерным примером постпозитивистских традиций, прочно внецерковных — отец был человеком неверующим — и неприязненных по отношению к любым влияниям эндецкой [национал-демократической] идеологии, а с другой стороны — обладавших сопротивляемостью всяческому коммунизму. В 1952 г., когда у меня возникла мысль по-соседски ходить к варшавским иезуитам на уроки Закона Божьего, многие родители по политическим причинам боялись посылать туда детей. Отец не боялся и сказал матери: «Ладно, пусть ходит. Подрастет — у него вся эта религия пройдет, но получит

хорошее противоядие от коммунистической школы». Только благодаря этому я и попал в церковные круги — ну и, выходит, посмеялся над отцом: как-то оно не прошло.

В домашних традициях во главе нравственных принципов стояла порядочность — принцип, согласно которому, в каких бы ты обстоятельствах ни находился, должен поступать так, чтобы этого не стыдиться. Отец говорил: «Помни, все нравственные принципы, которым люди учатся, затем существуют, чтобы их применять, а не дожидаться, что кто-то их будет применять по отношению к тебе».

Мама создавала атмосферу, тепло, без которого дом был бы нелегким, потому что отец был суровый и деловитый. Мама была по-своему глубоко религиозна, но без интеллектуальной основы. В связи с этим во всех вопросах, касавшихся взглядов, влияние отца было намного больше. На мой идеологический путь повлиял отец. Он был весьма решительным антикоммунистом. Я даже сказал бы, что антикоммунизм, а также определенная антирусская настроенность были у нас в доме тем, что не нуждалось ни в каких дискуссиях. Антирусская настроенность происходила из того, что несколько поколений в семье сражались с русскими в XIX и XX веке и испытали от них много горя. Отец сам рос в России, отлично знал русскую литературу, язык, знал русский дух и при всей своей антирусской — точнее антироссийской, антигосударственной — настроенности культуру эту очень любил, охотно к ней обращался.

Мое раннее детство пришлось на время войны. Мы жили в Милянубеке, который был тогда своеобразным центром подпольной работы, где временами жил делегат правительства [в изгнании] и бывали очень важные лица из всех партий, входивших во власти Речи Посполитой. В связи с этим Милянубек был необычайно политизированным местом. Там же, во время подпольного слушанья передачи лондонского радио (не знаю, каким чудом я при этом оказался) у меня рухнула вера в научное мировоззрение. Я был уже очень взрослый: мне было пять лет, и я знал, что гномов на свете нет, поэтому, когда я услышал, что из этой коробки какой-то взрослый господин что-то говорит, я утратил веру в научное мировоззрение. Гномы есть, так как взрослый человек в коробку не влез бы!

Последний год оккупации, 1944-й, я немножко помню. Это было время, когда после восстания варшавяне сбегали из лагеря в Прушкове. Каждый искал места, где можно было бы

остановиться, а у родителей было множество друзей. В результате мы жили втроем плюс 13 варшавян.

Советские войска вошли в Милянувек 17 января, так же как и в Варшаву. Помню энтузиазм многих поляков, включая мою маму, и слова отца: «Не радуйся, не радуйся — одна оккупация заменяется другой». В 1946 г. мы переехали в Варшаву.

В пятом классе меня начали учить русскому. Помню, мой отец тогда сказал: «Этот язык ты должен изучить, потому что надо знать язык своих врагов». И сам начал меня учить. Учил, наверное, полгода, в результате чего я сразу получил в школе пятерку. Тогда отец сказал: «Теперь уже учись сам». Но я потом никогда ничего не учил, а пятерка у меня оставалась до конца школы. А теперь я, случается, даже читаю лекции по-русски — значит, научился!

Начали твориться неприятности вокруг Закона Божьего. У нас преподавала монахиня-назаретянка, и вроде бы всё было как раньше, но появились новые молодые учителя, которые над монахиней посмеивались. Притом так, чтобы осмеять ее в наших глазах. Но мы, хоть и совсем детишки, знали, что эти молодые учителя — коммунисты, а сестра — НАША. Мне очень трудно сказать, чт? на самом деле повлияло на мое религиозное мировоззрение и на всякий мой жизненный выбор. Не знаю, как было на самом деле. Но был один такой вечер, который стал началом.

Мне было 14 лет и три месяца — совсем сопляк. Пошел я в костел св. Анны послушать речь кардинала Вышинского к студентам и интеллигенции. Толпа, народу множество — вечерняя месса и долгая проповедь с амвона. Примас Вышинский что-то говорит, а люди старательно это переживают. Я мало что понимаю, не дорос еще, но вижу, что это так религиозно, так патриотично и так прекрасно, что нужно от этого возбуждаться. Возвращаюсь домой такой гордый тем, что я видел, что я уже знаю примаса. Утром иду в школу и узнаю, что сегодня ночью примаса арестовали... Это 1953 год. Мы знаем, что идут аресты разных людей, но еще не видели такого, кто бы оттуда вышел: если сажают, то уже навсегда. И вот это был момент, когда я внезапно осознал, что теперь — раз уж ничего сделать нельзя, потому что война кончилась, а я всегда был слишком маленький, слишком молодой и ни за что не успел уцепиться, — теперь только в Церкви и надо быть. Потому что вот оно, то место, за участие в котором можно, конечно, сесть, но где можно совершить что-то прекрасное.

Я поступил в лицей им. Рейтана, который на фоне других варшавских школ считался наименее политизированным. За четыре года было, может быть, два-три случая наполовину смешных, но доказывавших, что какое-то давление было.

Один из них произошел в последний день накануне выборов в Сейм. Избирательный участок должен был находиться в старом здании нашей школы. На какой-то урок не пришел учитель, у нас «окно», и большинство закурило. Курим, курим, и вдруг кто-то кричит: «Атас, ребята, Стефа идет!» Стефа — это наша классная руководительница Стефания Святловская, преподавательница латыни, чудесная дама, которой мы жутко боимся. Что делать? В конце класса была железная дверь в старый лифт, от веку не действовавший, ну мы туда через замочную скважину зашвырнули все окурки. Стефа приходит, нюхает — что-то чует, но следов нет. Через некоторое время мы чувствуем, что из-за этой двери воняет всё сильнее. Что-то горит. Из подвального окна пошел дым, это заметили со стороны, и в классе появился милиционер. Оказалось, что мы подожгли избирательный участок и скандал разгорелся сильнее десяти пожаров. Нас допрашивали, мы писали письменные объяснения. Стефа потихоньку сказала: «Признайтесь, что курили». Это нам слегка показало безумие ситуации. Еще чуть-чуть — и мы стали бы «врагами народа».

Идеологическое давление было, но его оказывали не учителя, а комсомольцы, потому что в СМП [Союз польской молодежи, польский комсомол] полагалось вступать. Из 30 выпускников в нашем классе только трое не вступили. Среди этих троих был и я, но помню, как на меня нажимали, как говорили: «Не поступишь учиться дальше». Я не особенно этому верил, потому что был очень хорошим учеником, так что вышла бы большая драка, — но все-таки боялся. Несмотря на это не вступил. Так я по этому вопросу одержал первую победу: 8 июня 1956 г. начались экзамены на аттестат зрелости, а за неделю до этого, в рамках предоктябрьской оттепели [имеется в виду октябрь 56 го], СМП был распущен. И все мои одноклассники, которые в него вступили и раньше говорили: «Ну, мы поступим учиться, а ты дурак, что не вступаешь», — сами оказались в дураках. Мне повезло, и в университет я поступил безболезненно.

Я пошел на полонистику. Уже три недели был студентом [в Польше занятия в высшей школе начинаются в октябре], когда ассистентка, которая вела у нас занятия по исторической грамматике, сказала: «Слушайте, сегодня занятий не будет. Через два часа в Политехническом институте начинается

митинг студенчества, рабочих и жителей всей Варшавы. Приехала делегация из Москвы, будут перемены в партии, а Варшава окружена советскими войсками. Я иду на этот митинг, а вы — если хотите — тоже идите». Как мы могли на это реагировать? Известно было, что есть «наша» правда, о которой нельзя говорить вслух, и официальная неправда: в школе, институте, в газетах, везде. Это два мира, которые друг с другом не соприкасаются. А тут вдруг ассистентка, находящаяся в рамках этого официального мира, говорит вещи, которые не совпадают с официальной идеологией. Мы знаем, что она права, но каким чудом она может так говорить? Помню, я чувствовал себя ошеломленным и совершенно дезориентированным. Тем не менее решил идти в Политехнический.

Там толпа. Кто-то направляет нас вверх, я нахожу себе место, смотрю и слушаю. Внизу продолжают речи. Их произносят люди с именами, которые должны бы мне что-то говорить, но я был настроен так крайне антикоммунистически, что для меня вообще всё официальное было отвратно. Но слушаю — и действительно: начинают говорить официальным языком о «народной Польше», о социализме, такая обычная чушь. Но тут же и тем же самым языком высказываются вещи против власти. В перерывах между речами мы поем — то «Интернационал», то «Боже, Ты, что Польшу...». И во мне углубляется непонимание: в чем я участвую? Это что-то государственное или антигосударственное? Ответа не знаю, но мне начинает нравиться.

Митинг кончается, и вся эта толпа выходит шествием. Я иду вместе со всеми и всё больше чувствую себя демонстрантом. Мы идем к тюрьме на Раковецкой. Впереди какой-то тип, выглядящий рабочим, несет бело-красное знамя. В те времена бело-красные знамена без красных не появлялись. Этот символ мне очень понравился. Он подходит к тюремной двери и колотит в нее древком. Кто-то кричит, и мы все начинаем орать: «Свободу политическим! Свободу политическим!» Идем дальше. В какой-то момент видим милицию и армию. Разбегаемся. Я лечу домой, рассказываю, отец глядит с недоверием и говорит с иронией: «Ну да, еще чуть-чуть, и тебя арестовали бы — и привет! Но если об этом было официально объявлено в университете, неужели ты себе воображаешь, что всё это было взаправду? Наверняка нет!» Но в 11 часов вечера отец, как всегда, включает «Свободную Европу», а там говорят, что несколько часов назад в Варшаве была демонстрация... и повторяют то же самое, что я рассказал. Ох, какой я стал важный, что принял участие в таких событиях! А это была

совершенная случайность. Так выглядел «великий Октябрь», как я его видел...

Потом в Варшаве сложилась необычайная атмосфера. В университете кто-то говорит: «Слушайте, примас вернулся!» Мы все удираем с занятий, мчимся на Медовую, а там — толпа народу. Открывается балкон, выходит примас, произносит коротенькую речь, благословляет и говорит: «А теперь спокойненько и послушно идите домой». В этот момент Варшава поняла, что что-то меняется. Освобождение примаса мы рассматривали как свою победу. Энтузиазм был огромный. Возникло множество студенческих объединений, разных демократических союзов, но я туда не лез. И ни во что не лез, кроме харцерства [польского скаутства], куда втянулся очень сильно. Стал инструктором. С людьми, которых я там узнал, я был тесно связан. Мы вместе проводили время, встречались каждую субботу. Начались первые романы и даже одна-две свадьбы. Одним словом, всё время — харцерство. Мы были рьяными католиками. Все мы раньше участвовали в студенческих пастырских группах, которые до 1956 г. были полулегальными. На лекции в университет я почти не ходил — впрочем, они протекали сквозь меня, как вода. Не участвовал и ни в каких культурных или политических занятиях, которых было множество, потому что мне уже не хватало энергии. Однако после каникул 1958 г. харцерство закончилось. Нас начали выгонять из инструкторов за клерикализм. Проводили одну чистку за другой, пока нас не послали в отставку. Со мной это случилось среди самых первых, но особо неприятного чувства у меня не было, так как я уже загорелся новым замыслом.

Началось это так: студенческий кружок философского факультета ЛКУ (Люблинского католического университета) организовал летний лагерь в Свентой-Липке на Мазурах. Они хотели собрать людей из студенческих пастырских групп со всей Польши, чтобы обсуждать вопросы христианской философии. Я тоже принял участие в этом лагере. Туда приехал на два дня священник и доцент Войтыла, только что назначенный епископом, но еще не рукоположенный. Он сразу купил нас своим образом жизни, игрой в волейбол, плаванием на байдарке и так далее, и мы решили, что все поедem на его епископское рукоположение в Краков. Мы встречались регулярно. Ездили автостопом, который как раз тогда начинал становиться очень популярным в Польше, и ели что Бог даст. Иногда — очень скромно. Ночевали на полу в самых разных квартирах, и было нам хорошо. Так я вошел в среду ЛКУ и решил изучать там другую дисциплину — христианскую философию.

Я не мог этого сделать формально, так как ЛКУ не имел права на организацию заочного обучения. Поэтому отметки и подписи профессоров я собирал на обычном листе бумаги.

В Люблине я застал совершенно иную интеллектуальную ситуацию, нежели в Варшаве. Не было той дистанции между профессором и студентом. Я сразу близко познакомился с несколькими профессорами. Очень сильным был общинный дух, а среда отличалась семейным духом. Когда я приезжал в Люблин, у меня никогда не было денег на съём жилья. В общежитии жилось тяжело: в одной комнате жило до одиннадцати человек. Но меня всегда принимали двенадцатым — хоть бы под стол, — и не было проблемы.

Полонистику я закончил в 1961 г., а люблинскую философию уже позволил себе не заканчивать. Сразу после получения диплома мне удалось поехать по поддельному приглашению во Францию, где два месяца я проработал носильщиком, а потом автостопом объездил Францию, Англию и Италию.

Вернувшись в Польшу, я пошел работать в Национальную библиотеку, где три года просидел в Институте книги и читателя. Национальная библиотека была интересным местом — камерой хранения для тех, кто не мог делать карьеру, потому что пережил трудности в сталинский период. Там царили крайне оппозиционные взгляды, так что я чувствовал себя отлично.

Начали ко мне цепляться органы. Тогда я еще не знал, что если вызывают без официальной повестки, то можно не ходить, поэтому пошел раз, другой, третий. Однако мне удалось уже во время первой беседы — не очень обдуманно — поставить условие: «Если вас интересует, что я думаю, что я делаю и тому подобное, — хорошо, об этом я могу говорить. Зато принцип таков, что о третьих лицах я не говорю. Если вас это устраивает — пожалуйста, а если нет, то вообще не о чем разговаривать». Он согласился. Пока у меня был всё тот же собеседник, никаких «гнусных предложений» я не получал. Потом он передал меня своему начальнику, который однажды предложил мне помощь в защите диссертации. Я ответил: «Если мне будет нужно, сам защищусь», Это было легко. Хуже было, когда мой отец в 1964 г. заболел раком и лежал в больнице. Тогда гэбэшник сказал, что может мне помочь с какими-то лекарствами. Это произвело на меня впечатление, но я сказал: «Пока что мы не жалуемся на мнение врачей». Он оставил меня в покое, и дело остановилось. Гэбэшники от меня отстали, а папа и так выздоровел.

Допрашивали меня по делу «татерников» ^[1], потому что с этим я действительно был немного связан. Алиби, которые мы перед тем для меня придумали с Марией Творковской, оказалось идиотским, но я упирался: «я не я, и лошадь не моя» [по-русски в тексте] — и в конце концов меня отпустили.

В 1965 г. я ушел из Национальной библиотеки. Сначала работал инспектором железнодорожных библиотек, а затем в Клубе католической интеллигенции, где со временем меня выбрали в правление. Меня там уже неплохо знали. Однако я хотел иметь какую-то более определенную работу и стремился в Краков, где выходили «Тыгодник повсехный» и «Знак», — особенно меня тянуло к «Знаку», где работала моя однокурсница Хелена Бортновская. Это был тогда единственный католический интеллектуальный журнал. Главным редактором его была Ханна Малевская — человек святой и гениальный. Она говорила так: „Если кто хочет иметь легкое чтение, пусть читает «Пшекруй». В Польше очень много легких журналов, так пусть будет один нелегкий, на высоком уровне. Если кто не хочет его читать, пусть не читает. Никто не обязан. Чтение «Знака» для спасения души не необходимо”.

Пани Малевская была фантастическим человеком с удивительнейшей биографией. До войны — автор книг и историк. Во время войны — офицер Армии Крайовой, шифровальщица в Бюро иностранных шифров, занимавшемся перепиской между Лондоном и верховными властями внутри страны, а затем начальник этого бюро в звании капитана АК, что тогда для женщины было невероятно высоким постом. Она растила из нас редакторов. Требовала от нас невероятной работы, так как нельзя было сказать, что вот есть статья, но никто из нас в этом не разбирается. Она говорила: «Значит, надо разобраться». И мы изучали все области философии, богословия, истории, культуры, социологии. Никакой университет никому из нас не дал столько, сколько дала работа в редакции «Знака».

Тогда заканчивался Ватиканский собор. Для моего поколения это было необычайно важное событие. Мы были молоды, жадно всё впитывали и жаждали чего-то нового, а тут Церковь предлагает нам такие перемены! Весь опыт экуменизма — совершенно новый. Чтение Священного Писания, которое прежде нам в принципе нельзя было читать без индивидуальных разрешений, — теперь неприличным стало его не знать. Изменения в богослужении... Вся Церковь в этом участвовала. Сидя в «Знаке», мы были близки к источникам информации и знали, чт? происходит. Это был очень сильный

религиозный опыт, но в то же время и фантастически интеллектуальный.

Это был также период Тысячелетия крещения Польши и скандала с письмом польских епископов немецким. Оказалось, что есть большой спрос на лекции и доклады по истории Церкви в Польше. Я думал, как ответить на этот спрос. У нас в «Знаке» была прекрасная литература на эту тему, оставалось только собрать группу в несколько десятков человек и организовать курсы лекций для студенческих пастырских кружков, семинарий и самых продвинутых приходов со всей Польши. По принципу автоиронии я предложил назвать их «Пустомеля». И «Пустомелю» ожидала долгая карьера. Конечно, приходилось считаться с тем, что властям это не нравилось, но ничего плохого никто никому не сделал. Разве что кто-то хотел делать политическую карьеру. Но мы не хотели. У меня было 50–100 лекций в год, а все мы в целом за эти три-четыре года прочитали тысячу лекций по всей стране. Так что это было крупное мероприятие, притом по существу не заблокированное государственными властями.

В 1969 г. я женился, родились дети, и надо было заняться семьей. Мои личные интересы сосредотачивались тогда на XIX веке и истории польской интеллигенции. Я много прочитал на эту тему и написал книгу «Генеалогия непокорных». Через цензуру она прошла забавным образом. Сначала над ней страшно долго сидела «Библиотека „Вензи“», так как там работали люди скорее неторопливые, и я дико на них злился. Когда наконец ее подготовили к печати и отправили в цензуру, была середина декабря 1970 го. И после декабрьских событий [жестоко подавленных рабочих волнений] Гомулка полетел с престола и появился Герек. Примерно месяц была полная неразбериха: никто не знал, что можно, а что нельзя, и благодаря этому из 520 страниц цензура вычеркнула мне только пять предложений.

Мне казалось, что я пишу «Генеалогию» для пятисот человек в Польше, заинтересованных этой темой. Однако оказалось, что читатели и рецензенты отнеслись к книге как к мнимой исторической, а в действительности необычайно политически злободневной. Это было не совсем то, к чему я стремился. Разумеется, я отдавал себе отчет в том, что обстоятельства схожи — в частности, и поэтому эта история меня интересовала, однако я заботился главным образом об исторической стороне, а не о том, чтобы это толковалось политически. Вокруг книги начался страшный круговорот. В прессе появилось рецензий сорок, а чтобы было смешнее, в 1971

г. «Свободная Европа» объявила ее «книгой года». Вдруг оказалось, что я ужасно важный писатель! Конечно, мне было крайне лестно, но всё это было слегка на вырост.

В 1972 г. пани Малевская решила уйти на пенсию, и ей пришлось в голову, чтобы после ее ухода я стал главным редактором «Знака». Из трех редакторов я был самым младшим и хуже всех образованным. Тем не менее стал главным редактором. Это были муки, потому что я не обладал ни знаниями, ни умениями, ни способностью побуждать других к работе, ни авторитетом. Поэтому редакция должна была превратиться в демократическую республику. А редакция должна быть монархией. На несколько месяцев я с женой и детьми переселился из Варшавы в Новую Гуту. Я страшно мучился с редакцией, постоянно сознавая, что дела не идут так, как я хотел бы, но вскоре «Народная Польша» помогла мне выпутаться из этого.

После событий в Радоме и Урсусе [июньских рабочих волнений 1976 г.], весной 1977 г., мой друг Антоний Мацеревич сказал мне: „Слушай, недели через две-три мы в КОРе решили провести политическую голодовку протеста. У нас только одна ужасная трудность: лучше всего ее проводить в костеле, но без ведома примаса мы не можем. С другой стороны, как ему сказать, раз он всё равно не может ответить ни «да», ни «нет»? Нет у тебя какой-нибудь идеи?” Через неделю в связи с делом Пыяса^[2] почти всех членов КОРа, включая Антека, арестовали. Уже надо было проводить голодовку в защиту рабочих из Радома и Урсуса и в защиту коровцев. Благодаря своей книге я был уже известен, занимал серьезный пост главного редактора «Знака», ну и имел знакомства в Церкви. Поэтому я решил, что теперь приму в этом участие. Гвоздем программы было попасть на прием к примасу и сообщить ему, что состоится голодовка и что мы хотели бы проводить ее в костеле, но если примас что-то против этого имеет, то мы пойдем голодать на улицу. К сожалению, примас был тогда очень занят и меня принял его секретарь о. Юзеф Глемп. Я ему всё сказал. Через несколько часов Глемп передал мне, что примас уже обо всем знает, что это очень важно и он принял известие близко к сердцу, но на встречу у него, к сожалению, нет времени. Я поблагодарил, вернулся домой и счел, что запрета не получил.

Голодовку удалось организовать благодаря тому, что у меня было два друга-священника — тогдашний настоятель костела св. Мартина о. Бронислав Дембовский, ныне епископ-сениор, который согласился, чтобы голодовка проходила у него в

костеле, и о. Александр Хауке-Лиговский, доминиканец, который сразу спросил:

— А какого числа начинаете?

— Такого-то.

— О! значит, мне придется пораньше записаться на прием к зубному. Мне было назначено на следующий день, так как у меня там какое-то воспаление.

— А почему ты хочешь перенести?

— Ну не пойду ж я с воспалением! Пусть мне вырвут эти зубы!

— Так ты пойдешь с нами?

— Ну а как же?

В последний момент я пошел еще к Тадеушу Мазовецкому. Он вывел меня на балкон, так как в доме была подслушка. Я говорю: «Слушай, когда мы там закроемся, то не сможем общаться ни с кем извне, а надо уведомить мир, чт? происходит. Будь нашим глашатаем». Он отвечает: «Я буду вашим доверенным лицом — это лучше звучит». И его стараниями как доверенного лица через 24 часа радио по всему миру передало о нас сообщение, а через два дня — и вся печать. Такой шум наступил, что к нашей голодовке даже присоединились еще несколько человек. Нам было важно дать обществу понять, что есть вещи, с которыми нельзя соглашаться; а раз мы не можем сделать ничего другого, то будем голодать. Мы знали, что власть особо этим не взволнуешь, но общество должно взволноваться. Мы относились к этому довольно религиозно, потому что неделя голодовки — это нелегкая аскеза. А если посадят, ну что поделать — не мы первые, не мы последние!

Это событие обременило мои профессиональные решения. Идя на голодовку, я должен был сказать об этом в «Знаке». Кстати, для редакции это было очень опасно, потому что могли устроить какой-то скандал и попросту задушить журнал цензурой. Наступили очень нелегкие разговоры. Коллеги в «Знаке» сказали мне: «Раз уж ты пошел на это, ничего не поделать, но в будущем помни, что такого делать нельзя. По всем политическим вопросам ты должен сначала посоветоваться с нами. Отныне ты будешь подчиняться нам в любой политической деятельности, а если нет — тебе придется уйти с поста главного редактора». Я подумал и сказал: «Тогда я

ухожу», — и всё получилось отлично, только я остался без работы.

А потеряв работу в «Знаке», где еще я могу найти ее в этой стране? А тут как раз жена говорит: «Я снова беременна. Третьего ребенка жду».

Кажется, осенью 1977 г. мне пришло в голову организовать встречу активистов КОРа с кардиналом Войтылой, к которому я еще со времен Свентой-Липки обращался, называя его «Дядюшка». Я подговаривал дядюшку, не встретиться ли ему с главными лицами в оппозиции. Я не нажимал, но он сказал: «Разве что в частном порядке: такая встреча не может состояться в публичном месте. Лучше всего у тебя. В конце концов мы столько лет знакомы, я бывал у вас в Новой Гуте. Теперь вы можете принять меня в Варшаве, а туда пусть зайдут эти господа, только не слишком много, и сможем поговорить. И, разумеется, об этом не шуметь».

Я решил позвать на встречу Яна Юзефа Липского, Яцека Куроня, Антония Мацеревича и Петра Наимского. Всех их я хорошо знал. Конечно, они были крайне возбуждены.

В назначенный день, когда уже все собрались, я сел в машину и поехал за кардиналом к сестрам-урсулинкам. Ливень был ужасный, и кардинал, чтобы не замочить сутану, выходя из машины, подтянул ее так, что под пальто ее вообще не было видно, и мы прошли через двор к подъезду.

Встреча продолжалась часа полтора. О чем говорили — смешно сказать! — не помню, потому что я был так напряжен и тем, что вообще удалось, и тем, как это кончится, что не мог сосредоточиться на сути. Во всяком случае разговор шел скорее вокруг нравственно-идейных, а не политических тем: о свободе слова, свободе вероисповедания, свободе собраний, необходимости действовать и открыто проявлять свои взгляды. И о том, что за всё это бывает нужно платить. Все были в восторге. И кардинал, который поначалу заботился, чтобы все почувствовали себя свободно и легко, а потом всё больше углублялся в разговор с каждым из собеседников. Он отнесся к ним очень индивидуально. После встречи я оставил их в квартире, а кардинала отвез к урсулинкам. Через несколько дней МВД обратилось с официальным протестом к секретарю епископата архиепископу Брониславу Домбровскому по поводу того, что кардинал Войтыла встречается на частной квартире с самой радикальной частью оппозиции и что для конспирации приходит в штатской одежде. Отсюда становится ясным, что гэбэшники в тот день сидели на нашей помойке, потому что

только оттуда им могло показаться, что под пальто нет сутаны. Сам кардинал после всего этого сказал: «Ну ты мне и устроил! Ты бы слышал, как меня ругали на заседании епископата! Но я сказал, что попросту навестил своих друзей, а там встретил их друзей. А что? Нельзя встретиться на частной квартире с друзьями?»

Я задумал, раз я уже не работаю в «Знаке» и появилось немного лишнего времени, заняться наконец отложенной книгой о Церкви в государствах коммунистического блока. Еще в 1974 г. я съездил в Чехословакию, Венгрию и Румынию и старался разобраться в положении тамошних Церквей — разумеется, нелегально и довольно осторожно. Собрал немного материала и сообщил об этом примасу и митрополиту Краковскому [Каролю Войтыле], который спросил:

— А на что будешь жить?

— А уж как привык.

— Ну так сколько тебе нужно в месяц?

— Столько, сколько получал в «Знаке».

И я получил на тысячу злотых больше. Начал писать. Шло отлично, да только через год и три месяца мой «спонсор» уехал из Польши. 16 октября 1978 г. он сменил постоянное место жительства и имя, а фамилию употреблять перестал. Через несколько месяцев приехал секретарь Папы свящ. Дзивиш и спрашивает: «Денег, наверное, нет?» Я отвечаю: «Ну, конечно, нет!» Он вынул бумажник, и я получил деньги.

Тем временем возникла идея Летучего университета. Сначала это показалось мне нереальным. Я считал, что власть сделала бы глупость, если бы не разогнала нас через неделю. И власть оказалась глупой. Не разогнала нас сразу, а уже через месяц-два к нам, шести первым преподавателям, стали присоединяться преподаватели в других городах. На рубеже 1977–1978 гг. было создано Товарищество научных курсов, в котором несколько десятков крупных ученых и мыслителей — вся элита польской культуры — безоговорочно поддерживали инициативу Летучего университета. Это продолжалось три года, а органы либо вообще не реагировали, либо разгоняли отдельные мероприятия. Иногда преподавателя задерживали на 48 часов.

В двух случаях избили участников, преподавателей и членов их семей, один раз — у Яцека Куроня. Где-то побили и Адама Михника. Меня тоже однажды забрали, привезли домой и

устроили обыск. Кстати говоря, крайне неумело: прозевали девять десятых того, что могли бы взять. Из всего дома забрали, может быть, восемь книг и несколько третьесортных бумажек.

В августе 1980-го я подписал письмо представителей варшавской интеллигенции, солидаризировавшихся с бастующими рабочими Гданьской судовой верфи. Через несколько дней мне позвонил Тадеуш Ковалик, тоже преподаватель Летучего университета, и говорит: «Слушай, я только что говорил с Тадеушем Мазовецким. Мы должны вшестером завтра утром лететь самолетом в Гданьск и присоединиться к забастовщикам. Это согласовано с тамошними властями. Полетишь с нами? Мы тебя предложили». Я думаю: «Ну, совсем с ума сошел», — и отвечаю: «Знаешь, Тадеуш, поговорим об этом, может быть, завтра, а теперь иди спать», — и кладу трубку. Тут же он опять звонит: «Слушай, я не пьяный! Говорю совершенно серьезно». Ну что ж мне делать? «Ладно, — говорю, — летим».

В Гданьске нас встречают представители забастовочного комитета. Едем на верфь, входим по очереди внутрь, а там забастовщики начинают нам аплодировать, а потом петь «Еще Польша не погибла». И мы чувствуем, как от волнения начинаем плакать. Нас встречают овацией. Мы получаем удостоверения на пребывание на верфи в качестве экспертов. Какой я эксперт? Может, кой по чему и был бы, но наверняка не по тому, как проводить забастовку на верфи. Я никогда в жизни не был на верфи и никогда в жизни не видел забастовки!

Это был удивительный период. Атмосфера была крайне приподнятой и напоминала что-то вроде реколлеций. Все мы боялись, что нас посадят, но знали, что делаем нечто важное и что весь мир будет об этом говорить. Но мы выступили против товарища Брежнева, и потом придется за это расплачиваться. Мои товарищи, более политически подкованные, наверное воспринимали это сознательней, чем я. Для меня происходящее скорее было интересным как идейный и социологический феномен. Я много разговаривал с людьми и, разумеется, немножко давал советы, но скорее по принципу «что мне кажется» или «как это бывало в истории». Заведомо дела не обстояли так, что мы-де предложили что-то важное. Мы скорее оказывали помощь, придавая надлежащую форму тому, что люди хотели сказать.

В последний день августа было похоже, что или всё подорвется, или мы победим. Мы не очень-то знали, что происходит в стране и отдавали себе отчет в том, что страна не знает, какая

здесь царит откровенность: все говорят то, что думают. Граница человеческого сознания между Гданьском и Варшавой была тогда ясно видна. И вот оказалось, что наши требования — 21 пункт — приняты. Очень важную роль сыграл я в оформлении этих требований: поправил все запятые и другие знаки препинания. Не помню, чтобы хоть один эпитет добавил или убрал. Эта победа была совершенно ошеломляющей. Господи Боже, какой же у нас теперь строй? Какая же теперь жизнь? Не было же и речи о смене власти, потому что власти мы не добивались. Можем учреждать профсоюз!

Я решил, что уже сделал то, что надо, и теперь могу снова заняться моей историей, но в декабре мне предложили пост главного редактора создававшегося тогда «Тыгодника Солидарность». Быть тогда редактором профсоюзного еженедельника означало работать за несколько человек, да еще эта работа была очень невыгодная. Мне удалось от этого отвертеться. В конце концов назначен был Мазовецкий, а я стал его заместителем.

Вскоре появилось еще одно дело. Валенсу пригласили в Рим итальянские профсоюзы, но он одновременно хотел побывать у Папы. Польская Церковь считала, что важнейшее дело — встреча с Папой, но поездку организуют и оплачивают профсоюзы. Речь идет еще и о том, чтобы «Солидарность» проявилась на почве всемирного профсоюзного движения. Вопрос: как это организовать, чтобы никого не обидеть? И мне говорят: «Поезжай ты. Папа тебя знает издавна, и ты можешь говорить с ним откровенно, а с профсоюзами разговаривай осторожно, помня, что они очень важны. Через два дня у тебя самолет, а паспорт получишь через несколько часов». И я поехал.

Поездка вышла удачной, так как еще в самолете кто-то хлопнул меня по плечу: «Добрый день! Вы в Рим?» Священник Станислав Дзивиш. Я думаю: «Вот идеальная ситуация», — и говорю ему, что лечу с такой двусмысленной миссией. «Можно всё сделать, — отвечает он. — Будьте осторожны, нам надо будет встречаться каждый день, чтобы знать, как развивается ситуация». Еду в профсоюзы, они мне представляют свою программу и спрашивают: «Говорят, г-н Валенса хочет также увидеться с Папой?» — «Да». — «А как это сделать?» Я говорю, что завтра всё выясню в Ватикане и дам знать. «И вы думаете, что так быстро удастся с Ватиканом договориться?» Я сразу звоню ксендзу Дзивишу, который говорит: «Приходите на ужин». На ужин — то есть к Папе. Там уже разговор простой. Я представляю обстоятельства, на что Иоанн Павел говорит:

«Прими всю их программу. Пусть всё будет, как они хотят, потому что не надо доставлять „Солидарности” хлопоты в международных профсоюзах, что она, мол, чересчур религиозно-национальное движение. Я могу, между нами говоря, приспособиться, и выйдет так, как будто программа была согласована с двух сторон. А я знаю, что вы хотите ко мне приехать и что это будет и для меня, и для вас огромная радость». И благодаря тому, что сам Папа хотел сделать как можно лучше для «Солидарности» и что ему неважно было, чтоб пошла только церковная слава, всё удалось.

Возвращаемся в Варшаву и начинаем выпускать «Тыгодник Солидарность». Однако через несколько месяцев я получил от Папы стипендию на написание второго тома моей книги в Риме. Выезжаю в октябре 1981 г. на два месяца, вернуться хочу к Рождеству. В Риме сижу с утра до вечера в библиотеке знаменитого Восточного института и роюсь в различных документах. Хорошо мне. На несколько дней приезжает жена. В Польше оставила трех малых детей под опекой нашей подруги Марии Восек из КОРа. В Варшаву возвращается 11 декабря. Я собираюсь вернуться к Рождеству или сразу после. 13 декабря узнаю по радио, что Ярузельский объявил военное положение. В радиопередачах последних известий появляется всё больше информации, хотя в целом в ней трудно разобраться с западной точки зрения и с точки зрения той Польши, из которой я выехал, — Польши «Солидарности». 15 или 16 декабря итальянское телевидение обратилось ко мне с просьбой откомментировать эту ситуацию в вечерних последних известиях. Я говорю им, что у меня мало информации, а будучи человеком, ангажированным в определенных кругах, не могу себе позволить говорить неправду. Мне нужны надежные сведения. Мы договариваемся на 17 декабря. Я мчусь к Папе, там получаю всё, что до него дошло, и готовлю четырехминутное выступление — очень антиярузельское и очень резкое.

Я старался решить, что мне делать. Могу вернуться в Варшаву, но уже известно, что, вероятно, пойду сидеть. Телефоны не работают, но через какие-то церковные каналы установил связь с женой и спрашиваю: возвращаться ли? Жена в событиях ориентируется. Кто-то передал мой вопрос Мазовецкому в лагерь интернирования в Дарлувек, и он ответил: «Лучше сиди на Западе, представляй наши дела». Я страшно колебался. В Польше — жена и дети, но действительно среди людей, которые случайно оказались в этот момент за границей, я лучше всех разбираюсь в том, что делается на «верхушке» «Солидарности». Иду к Иоанну Павлу и говорю: «Похоже, я должен остаться, но колеблюсь». — «Я, — говорит, — всем

советую возвращаться. В твоём случае думаю, что, может, лучше тебе остаться. Но делай, как сам решишь». И около Нового года я решил остаться.

Я часто бывал у Папы, который, кстати, очень плохо выглядел: военное положение так его душевно подломило, что он был подавлен и физически на несколько лет постарел. В январе 1982 г. благодаря Яну Кулаковскому, председателю Международной конфедерации христианских профсоюзов, мне удалось организовать с ватиканской стороны встречу нескольких десятков профсоюзных лидеров со всего мира с Иоанном Павлом II. Они пришли сказать ему, что солидарны с «Солидарностью». Папа произнес перед ними прекрасную речь.

Мне предложили читать внештатные лекции в Женеве и штатное место в Институте Восточной Европы при Фрайбургском университете. Для меня это было идеально, я поехал в Швейцарию и начал работать. Одновременно появился в Международной организации труда (МОТ) и начал там публично выступать. Один раз мне даже дали слово перед ооновской Комиссией прав человека, разрешили говорить три минуты, и тут вышла забавная ситуация. Я поехал туда с обрывком газеты, на которой было написано: «Уполномочиваю пана Цевинского (так!) представлять „Солидарность” в Женеве на собрании. Валенса». Он был тогда [интернирован] в Арламове, кто-то его попросил написать — ну и написал. Когда я получаю слово как представитель польского профсоюза «Солидарность», представители СССР, УССР, БССР и ПНР заявляют протест и покидают зал в знак протеста против того, что слово дали какому-то типу, который будет врать насчет положения в Польше. Я очень боялся: это все-таки была большая драка. Шел июнь 1982 го. Семья сидит в Польше. Думаю: «Ну, если жене и детям придется расплачиваться, плохо получится, но с другой стороны — такой шанс, использую его для дела». Кончилось тем, что сын, который тогда учился в третьем классе начальной школы, на следующий день после того, как западные радиостанции передали мою речь, получил в школе корзину цветов и фруктов.

В сентябре того же года благодаря помощи архиепископа Домбровского моя жена получила заграничный паспорт — один на нее и троих детей, — притом не «в одну сторону», так как заявила, что такого не возьмет, а с правом выезда и обратного въезда. Они приехали ко мне, и мы на восемь лет осели в Швейцарии. Тогда мы не знали, на сколько лет, и не забывали, что, может, останемся тут до конца наших дней. Через несколько недель со мной случился внезапный удар. У

меня наступил частичный паралич и потеря способности различать то, что случилось на самом деле, от того, что могло бы случиться по моему желанию. В связи с этим я фантазировал, и любая политическая деятельность была перечеркнута. Жена помогала мне приходить в себя, играя со мной в карты. Сначала я ничего не понимал, но постепенно начал разбираться, в чем дело. Такими методами она лечила меня почти год. И тогда наступила возможность исключительного политического деяния, притом необычайно легкого и приятного. Человеку случается мечтать, что когда-нибудь он совершит нечто такое потрясающее, что получит за это Нобелевскую премию. Но, конечно, никто не воображает, что кто-то другой получит Нобелевскую премию, а он будет произносить речь лауреата, — а со мной такое случилось.

Когда оказалось, что Валенса не может ехать в Осло, кому-то пришло в голову, что «снаружи» есть Цивинский. Валенса меня знал — и знал, что я нахожусь недалеко от Папы, в связи с чем относился ко мне положительно. Кто ко мне с этим обратился — не помню, во всяком случае мне передали по телефону из Варшавы или Гданьска короткое сообщение: «Валенса просит». Это было смешно — до смешного легко. Надо было поехать в Осло и готовый текст прочитать по-польски — любой дурак, с любой травмой мозга, это сделал бы. Легко, приятно — но нужен смокинг. А у нас это проблема: хоть я вроде бы и работаю в университете, но это не такая работа, чтобы содержать троих детей (Швейцария — самая дорогая страна в Европе), и не может быть и речи о том, чтобы покупать смокинг. А с другой стороны — из-за отсутствия смокинга не поехать?

И произошел счастливый случай! Звонит мне приятель со школьных времен, когда мы встречались на вечеринках в разных домах, — Кшись Занусси. Снимает фильм в Германии, приехал в Швейцарию, предлагает встретиться. Приезжает, рассказываем друг другу, что у кого произошло, и между прочим я говорю: «Знаешь, чудесная история! На следующей неделе я должен получать Нобеля за Валенсу, только такая неприятность: нет у меня смокинга». Занусси отвечает: «Я же делаю исторический фильм для немцев и буду нуждаться в костюмах. Могу потребовать и смокинг — они его мне в несколько дней сделают». Так мы и поступили. Сама церемония была необычайно элегантной. Я боялся, сумею ли себя вести как надо, потому что никогда не бывал в таких сферах, и, честно говоря, боялся, как будет выглядеть пани Данута [Валенса]. Но когда мы встретились в Осло, я увидел весьма достойно выглядящую даму.

Очень важным, на мой взгляд, делом, в котором я принял участие, было ездить по всему миру и рассказывать о «Солидарности». Это были главным образом страны Третьего мира, особенно Латинская Америка. Кроме того был в Того, Израиле и Канаде. Разумеется, ездил и по Европе, но это было не так интересно. В Латинскую Америку поехал по приглашению тамошних профсоюзов. Побывал в Венесуэле, Аргентине, Колумбии, Чили и Парагвае. В каждой из этих стран я выступал среди настоящих рабочих и всюду рассказывал о «Солидарности». Это производило огромное впечатление. Там гораздо лучше понимали опыт «Солидарности», чем в Европе: живя при авторитарном или прямо тоталитарном строе, латиноамериканцы были приучены к тому, что власть может всё себе позволить. Как бороться профсоюзу в таком положении? Им было необычайно интересно, как мы сделали это в Польше. Я лично считаю, что «Солидарность» вообще ничего особенного не могла предложить обществам свободных европейских стран, зато многое могла дать таким странам, как Латинская Америка, Африка, некоторые азиатские страны. Думаю, что мы мало что сделали в этом направлении уже после 1990 года. Мы глядели только на крупнейшие силы в мире — США и Западную Европу. Жаль...

В 1989 г. мы всей семьей — увеличившейся еще на одного сына, родившегося в Швейцарии Павла, — вернулись в Польшу, наверняка нелегкую, но свободную. И как тут не согласиться со старым мудрым изречением: «Чтоб тебе жить в интересные времена!»...

-
1. Дело «татерников» (татрских альпинистов) — следствие и суд над группой молодых людей в 1970 по обвинению в незаконном ввозе «враждебной» литературы, главным образом изданий парижского Института литеацкого. — Пер.
 2. Станислав Пыяс — краковский студент, сотрудник КОРа, убитый органами ГБ в июне 1977. — Пер.

ГЕНЕАЛОГИЯ НЕПОКОРНЫХ

Идя сквозь новейшую историю вспять, мы доходим до короткого периода 80–90 х годов прошлого века, когда, после того как польская политическая и общественная мысль долго лежала под паром, в ней начали рождаться новые идеи и новые направления, определившие затем идеологическую карту общества почти до II Мировой войны. Ранняя история этих идейных течений — это история одного поколения польской интеллигенции. Поколения, родившегося примерно в годы восстания 1863–1864 гг. и возраставшего в самую мрачную политическую ночь, какая когда-либо опускалась на Польшу. Поколения, которое сумело возродить польскую политическую жизнь, создать мощные партии с ясными программами, внести свой существенный вклад в обретение независимости в 1918 году и, наконец — в возрасте уже решительно близком к пенсионному, — предпринять труд созидания возрожденного государства. На этом-то поколении и на истории его идейных начинаний мы хотим сосредоточить наше внимание, из его общественной и политической деятельности извлечь интересующие нас в первую очередь элементы этики общественного деяния.

Заняться этой темой заставило нас не только историческое любопытство, но и уверенность, что размышления об общественно-этических позициях той эпохи способны углубить наши нравственные позиции, которые склоняют нас к идейной деятельности, в высшей степени современной. Совершенно ясно, что сознательная и честная общественная деятельность — в самом широком, а значит, и самом разнообразном смысле этого понятия — требует от тех, кто хочет ею заняться, глубокого обдумывания принципов социальной этики, которой должно руководствоваться наше поведение. Эта проблематика важна для каждого, кто чувствует себя призванным к творческому участию в жизни своего сообщества, независимо от того, как он себе это призвание объясняет и мотивирует. Важна она и для всего общества, если оно признаёт, что его будущее не будет ему пожаловано даром, а станет результатом действительной динамизации общего честного труда.

Глубже задуматься над современной социальной этикой в Польше своевременно и тем, кто эту динамизацию

общественного труда хочет видеть вдохновляемой внецерковно, и тем, кто свое призвание к общественной деятельности черпает из христианских источников, побужденные хотя бы учением II Ватиканского собора о католиках в современном мире. Без глубоких размышлений над этическим аспектом общественной включенности в современность — притом конкретную польскую современность — всякая, даже во весь голос постулируемая динамизация общества может в своих результатах превратиться в фикцию, а поверхностный прагматизм деятельности, не до конца продуманной в нравственном отношении, не только не принесет ожидаемых плодов, но может стать причиной существенного социального ущерба.

В ходе размышлений над современной польской социальной этикой — как в ее ныне существующей, так и в предлагаемой форме — нельзя не принимать во внимание тот факт, что современность органически вырастает из прошлого и что на человеческие позиции, идейные и нравственные, наряду с личным опытом влияют также традиционные позиции, унаследованные от предшествующих поколений.

Historia magistra vitae — темп современных перемен в мире и поразительной эволюции человеческой мысли указывает нам скорее на ограниченность этой истины, нежели на ее положительный смысл. Историческое образование нашего молодого и даже среднего поколения ничтожно и не дает ему чувства укорененности социального сознания в исторической цепи следующих друг за другом поколений. Прошлое не становится учителем будущего, ибо оно неизвестно или известно поверхностно, обрывочно и абстрактно. Нам недостает исторического сознания и как знаний, и как чувства традиций, чувства связи с прошлым, из которого мы вырастаем. Не позаботившись о восполнении этого пробела, мы как общество лишаем себя существенного источника идейного вдохновения, а также богатого источника вдохновения в области этики общественной деятельности.

К мотивам идейных традиций, таящихся в национальном прошлом, можно подойти по-разному. Можно — и так поступают особенно охотно — передавать их как традиции взглядов, традиции лозунгов, традиции идеологий и программ. Но это далеко не всё, что содержит прошлое чьих-то идейных достижений: традиция может передать лозунги и программы, если быстро отодвигающееся прошлое не сделает их анахроничными, однако может и даже должна передавать сами идейные позиции, засвидетельствованные конкретной

общественной деятельностью. В этой последней функции таится, пожалуй, самая существенная, ибо не угрожающая анахронизмом, воспитательная, образовательная роль передачи великих традиций.

Настоящая книга представляет собой попытку показать именно это идейно-этическое содержание традиций, которое мы наследуем от поколения, входившего на сцену национальной истории в конце прошлого века. Это попытка показать всё богатство и переплетение различных идейно-этических мотивов, проявлявшихся в деятельности людей того времени и одновременно, по нашему замыслу, свидетельство сознательного выбора этических ценностей, по мнению автора особо заслуживающих воплощения в содержание нашей вполне современной деятельности.

Не желая в своих рассуждениях ограничиться абстрактным подходом к нравственной проблематике, содержащейся в каждом идейном выборе той эпохи и стараясь исследовать историческую обусловленность конкретных человеческих позиций, мы входим в нелегко преодолеваемую чащу политических, социальных, культурных и идейных связей конца XIX — начала XX века. Героем нашей книги будет в первую очередь польский интеллигент — сосредоточиться на нем диктует нам в равной мере история, которая указывает на реальную ведущую роль интеллигенции в идейной жизни общества той эпохи, и социология, которая уже со времен Маркса обратила внимание на специфическое идейное прошлое этого, по-прежнему точно не определенного социального слоя и учит, что история идей — это всегда в какой-то степени история интеллигента, ищущего свое поле общественной деятельности. История идей диктует нам также ограничение картины той частью поделенной между тремя державами страны, где идейная жизнь проявлялась особенно напряженно и где, наперекор труднейшим условиям, появлялись самые дальнзоркие картины преобразований, то есть частью Польши, входившей в состав Российской империи.

Там, на столько раз упоминаемом у Жеромского, полном споров пятом этаже варшавского доходного дома, рождались разные идейные направления эпохи упадка позитивизма. Оттуда шли лозунги, встречавшие отклик в подвалах, боязливую неприязнь в салонах, тревогу и приказы о репрессиях в кабинете генерал-губернатора и его подчиненных. Рассказывая историю этих людей с пятого этажа, мы будем вращаться среди идеологической элиты поколения, может быть, немногочисленной, но поразительно активной и

всесторонней в общественной и культурной деятельности и создававшей разветвленную и богатую подпольную политическую жизнь. В этой среде формировались различные идейные позиции, в которых проявлялся носивший множество названий социальный радикализм значительной части польской интеллигенции, формировались и новые концепции национального ирредентизма. Идейность, активность, социальное служение значили одно для общественно-просветительных деятелей, выросших из ствола позитивизма, и совсем другое — для возраставших в той же среде создателей будущего национального лагеря. Несмотря на эти существенные, принципиальные идейные расхождения люди, активно действовавшие во всех этих лагерях, обладали определенными общими чертами. На фоне подавляющего большинства, страшившегося опасной, ибо нелегальной, идейно-общественной деятельности, на фоне достаточно широко, по-видимому, распространенной в этом поколении заботы о материальном и безыдейности, они представляли собой ценную неконформистскую элиту, способную делать идейный выбор, в каждом случае означавший идти против течения, ставить под удар свою карьеру, часто свободу, а в крайних обстоятельствах — и жизнь. Эту объединявшую всех их черту мы поставили в заглавие настоящей книги, рассказывающей о генеалогии польских НЕПОКОРНЫХ.

Идейно-этический образ интеллигента той эпохи исторически был бы крайне неполон и искажен, если бы мы попытались обойти историю его конфликта с Церковью. Существенность этой проблемы не требует объяснений, если подумать о ключевой для польского общества спланированной роли Церкви в эпоху порабощения и о значении Церкви как центра, формировавшего идейные и нравственные позиции. Нелегкая и горькая проблема конфликта с Церковью количественно значительной, а идеологически наиболее творческой части польской интеллигенции тех времен становится в этой перспективе одним из основных вопросов в истории идей в Польше, а также в истории позиций, занимаемых в сфере социальной этики. Поднимая эту тематику, мы сознаём, что не сможем распутать весь клубок вопросов, связанных с этим историческим явлением. Мы пытаемся лишь определить один из аспектов этого конфликта — аспект, для нас исключительно важный: спор об этических принципах общественной деятельности. Однако для понимания его сути мы должны увидеть польскую Церковь XIX века во всей ее нелегкой исторической обусловленности и в обоих главных измерениях — институциональном и общинном. Только такая картина может дать нам надлежащий фон для правильного анализа

социальной этики, которую предлагала появившаяся под конец XIX века концепция поляка-католика, и для ее сопоставления с этикой радикального интеллигента той же эпохи. Наблюдая историю этого конфликта в более поздние времена, невозможно не заметить существенного влияния внутренних перемен и интеллектуального обновления польского католичества в XX веке на дальнейшую историю отношения польской интеллигенции к Церкви. Проследив эти перемены, духовные источники их вдохновения и происшедшие под их влиянием изменения в модели социальной этики, можно обрести новое освещение идейной генеалогии католической интеллигенции.

Занявшись проблематикой идейных и этических перипетий, сопутствовавших польскому интеллигенту в его общественной активности, мы вступаем в еще недостаточно изученную область в рамках истории социального сознания. Во многих случаях нам будет не хватать тех результатов, какие, быть может, со временем принесут труды социологов и историков, которые со всей методологической ответственностью займутся историей ментальности в Польше, а в ее рамках — как социальной этикой, где воздействуют социальные и политические идеи, так и, наконец, историей польской религиозной ментальности.

Однако «белые пятна» в достижимом сейчас образе этого нашего социального прошлого не перечеркивают возможностей добросовестно изучать существенные идейные явления той эпохи и увидеть их историческую взаимозависимость. Всматриваясь в эту историческую конкретность, мы обнаруживаем ясную — а часто прямо поразительную — картину идейных и нравственных человеческих позиций, то есть то содержание наших исторических традиций, которое нас больше всего интересует.

Хотя обзор и анализ этих исторических позиций производятся с максимальной заботой о сохранении истины при представлении всех событий и точек зрения, тем не менее это не делается — и не должно делаться — с позиции бесстрастного исследователя. Как я уже сказал, эта книга задумана как исследование выбора, который делали другие, и свидетельством собственного выбора. Она порождена двумя традициями, переплетенными в одной нелегкой личной идейной генеалогии. Одна из них — гуманистическая, внецерковная этическая традиция интеллигента-радикала, другая — скорее выбранная, чем унаследованная от нравов окружающей среды, а вероятнее всего, дарованная благодатью:

христианство. Вращение в обе эти традиции и встреча с подлинными ценностями обоих этих этических миров стали главным источником вдохновения этих рассуждений — попытки заплатить нравственный долг учителям и друзьям из обоих идейно-мировоззренческих кругов.

Быть может, у тех, кто всё еще видит границу между верующими и неверующими как баррикаду, эти размышления пробудят доверие к людям, которые стоят с противоположной стороны и так же, как они, трудятся над выпрямлением достоинства человека. Понимание или, скорее, переживание этого сходства становится необходимым условием действительного уважения к человеку других убеждений. Необходимым условием доверия.

Чтобы достичь этого, продолжатель внецерковных этических традиций должен отбросить старый миф об антигуманистическом христианстве и сделать беспристрастное усилие обратиться к Евангелию, в котором он найдет все ценности, дорогие его чувству человеческого достоинства. А христианин, который желает идти в современный мир с замыслом совместного созидания общего блага, должен осознать, что живущий вне Церкви товарищ его трудов не замкнут в этическом вакууме, но точно так же, как он, — так же неумело — стремится воплощать в жизнь свой нравственный кодекс, где тоже отражаются искомые нами всеми — и всеми нами предаваемые — извечное Добро и извечная Истина.

Приближению к такому подходу и должна служить эта книга. Она задумана как голос в диалоге, диалоге бескорыстном и открытом к идейным и этическим ценностям, которых мы жаждем все. Она задумана как призыв, мобилизующий на проведение в жизнь этих ценностей, коренящихся, в конце концов, в нашей идейной генеалогии. В нашей общей генеалогии.

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• Результаты выборов в Европарламент: «Гражданская платформа» (ГП) — 44,43% (25 мандатов), «Право и справедливость» (ПиС) — 27,40% (15), Союз демократических левых сил — 12,34% (7), крестьянская партия ПСЛ — 7,01% (3). Всего 50 мандатов, полагающихся Польше. Явка на выборы составила 24,53%. Евродепутатами стали, в частности, Ежи Бузек, Данута Хюбнер, Януш Левандовский, Яцек Сариуш-Вольский, Ярослав Валенса, Збигнев Зёбро и Адам Герек. Не вернутся в Страсбург Януш Онышкевич, Дариуш Росати, Анджей Велёвейский, Юзеф Пинёр, Мартин Либицкий, Ян Кулаковский и др. («Газета wyborcza» и «Жечпосполита», 9 июня)

• Если бы результат вчерашнего голосования повторился на выборах в польский парламент, ГП уже не нуждалась бы в коалиции. Она могла бы править самостоятельно. («Жечпосполита», 8 марта)

• „Членство Польши в ЕС оказывает положительное влияние на качество польского государства. Введены европейские правила и процедуры, обычно более совершенные, чем польские, а контроль ЕС устраняет крайние проявления беспомощности или коррупции государственных структур. Поскольку европейское финансирование зависит от качества государственной системы, общественное мнение оказывает давление на правительство, чтобы оно это качество повышало. Европейские структуры — это к тому же порой последняя инстанция, куда могут обратиться граждане, считающие, что они пострадали от государства или что государство недостаточно их защищает. Польша — одна из стран, которые чаще всего обращаются в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (...) С начала 90-х годов идет процесс «завоевания государства» политическими партиями. Истинной целью политиков стало присвоение фрагментов государственных структур и барыши, которые дает контроль над ними. Процесс этот делает невозможным поддержание институциональной и кадровой преемственности (...) Многие законы были изменены только ради того, чтобы победившие на выборах политики могли присвоить себе государственные учреждения (...) Именно

из-за присвоения государственных структур политические группы не желают претворять в жизнь реальные и эффективные реформы”. (Витольд Гадамский, «Газета wyborcza», 30–31 мая)

- „Сейм вписал в конституцию запрет на участие в парламентских выборах лиц со вступившим в силу приговором к лишению свободы (...) Новые правила начнут действовать со следующих выборов. За запрет проголосовали 404 депутата, 9 воздержались. Против не проголосовал никто”. («Впрост», 17 мая)

- Тимоти Гартон Эш: «В Европе уже сейчас все осознают, что Польша принадлежит к большой европейской шестерке. С этим связаны ожидания, что она внесет какой-то свой вклад. Все ждут, что поляки скажут, какие у них приоритеты. Не только в собственных делах. Польша привнесла в ЕС идею «Восточного партнерства». Но нужно больше. Особенно в преддверии польского председательства». («Политика», 30 мая)

- „«Каждый польский евродепутат, когда уже станет ясно, что он прошел в Европарламент, получит от нас скамеечку для молитвы», — сказал о. Казимеж Курек из ордена салезианцев на субботней мессе в лодзинском соборе босых кармелиток”. («Польска», 3 июня)

- „20-я годовщина выборов 4 июня была отмечена совместным заседанием депутатов Сейма и Сената, в котором приняли участие Лех Валенса, Александр Квасневский, Тадеуш Мазовецкий, представители 24 парламентов Европы и председатель Европарламента Ганс-Герт Поттеринг. Отсутствовали президент Лех Качинский и премьер-министр Дональд Туск (...) На годовщину не был приглашен Войцех Ярузельский”. («Впрост», 14 июня)

- „Президент праздновал годовщину освобождения от коммунистического режима в Гданьске, премьер — в Кракове, а Войцех Ярузельский и Чеслав Кищак — на скамье подсудимых в Варшаве. На 4 июня суд назначил очередное заседание по делу инициаторов военного положения. «То, что я отмечаю годовщину на скамье подсудимых, обвиненный в коммунистических преступлениях, имеет символическое значение», — сказал Ярузельский. А Кищак напомнил: «Это я подал идею „круглого стола”, а потом план предоставления оппозиции 165 мест в Сейме». («Дзенник», 4 июня)

- „Со дня 4 июня 1989 г. прошло 20 лет (...) в Бучеке между Лодзью и Бжезиной местный предприниматель устраивает

большой пир, для которого зарежет быка”. («Польска», 29 мая)

• „В 1989 г. Эве Шарко было 37 лет: «Этот день всегда будет ассоциироваться у меня с приподнятым чувством и глубокой грустью. Первое понятно: мы вместе с мужем пошли и проголосовали за демократию (...) С грустью 4 июня связано у меня потому, что это был день страшной резни на площади Тяньаньмэнь. Каждый раз, когда разговор заходил о наших выборах, мы приходили к выводу, что у нас всё тоже могло так закончиться» ”. («Польска», 4 июня)

• „Конец цензуры, освобождение политзаключенных, победа кандидатов «Солидарности» на уже почти свободных выборах — вот лишь некоторые завоевания, которыми мы пользовались после 4 июня 1989 го. Кандидаты от Гражданского комитета при Лехе Валенсе получили 160 из 161 возможного мандата в Сейме и 92 из 100 в Сенате. Число доступных мандатов было определено соглашениями «круглого стола»”. («Польска», 29 мая)

• Проф. Павел Спек: „Не подлежит сомнению, что 4 июня 1989 г. было национальным праздником. Впервые за послевоенный период народ выразил свое волеизъявление на выборах в Сенат и, насколько мог, на выборах в Сейм (...) И всё же эта победа не была полной. Почти 40% поляков сочли, что т.н. свободные выборы не стоят того, чтобы оторвать зад от кресла и бросить бюллетень в избирательную урну. Эти отсутствующие много говорят нам о нас самих. Чтя память тех выборов, нужно иметь в виду это проявившееся уже у самых истоков Третьей Речи Посполитой циничное и апатичное равнодушие к общественным вопросам у огромной части наших соотечественников”. («Впрост», 7 июня)

• „4 июня только в одном выпуске новостей я четыре раза услышал из уст диктора, что «это началось в Польше», не говоря уже о том, что «Польша была первой!» и что «Правду об этой нашей победе мы должны донести до всего мира!»” (Людвик Стомма, «Политика», 13 июня)

• Проф. Анджей Пачковский: „Это был успех и большой шаг на пути, которым Польша шла с августа 1980 г. [забастовки и создание «Солидарности»], вплоть до полной смены общественного строя в 1991 году. Общество могло впервые легально и по-настоящему высказать свое мнение по поводу того, что предлагали политические элиты. Это одно из важнейших событий, наряду с августовскими забастовками и «круглым столом». Однако следует помнить, что «Солидарность» хотела не столько «ликвидировать»

коммунистов, сколько изменить систему, а значит, структуры и институты коммунистического государства. Если мы будем рассуждать таким образом, то можем смело сказать, что коммунизм был свергнут, потому что ликвидированы были его составляющие: у нас есть свободный рынок, частное предпринимательство, свобода слова, свободные СМИ, демократические выборы, свобода передвижения (...) Нужно помнить о реалиях того времени. Польша была окружена коммунистическими государствами, существовал Варшавский блок, у нас были расквартированы советские войска, все силовые структуры были сосредоточены в руках коммунистической партии (...) Правительство Тадеуша Мазовецкого, которое было создано в результате выборов, действовало в ситуации экономического коллапса. Оно сосредоточилось прежде всего на экономической реформе, а чтобы ее провести, нужно было иметь большинство в Сейме. Большинства не было тогда у самой «Солидарности», поэтому компромиссы были неизбежны (...) Нельзя было допустить эскалацию напряженности в стране. Поэтому все и пошло так, а не иначе”. («Жечпосполита», 2 июня)

- Павел Хюлле, поэт, прозаик и публицист: „Самым большим успехом Польши после 1989 г. стало местное самоуправление. Я знаю, что говорю, потому что я всегда голосую в своем округе за кандидата, который не только обещает, но и действительно прокладывает велосипедные дорожки”. («Газета wyborcza», 23-24 мая)

- Как изменилась Польша — сравнение данных за 1989 и 2008 гг.: ВВП на душу населения — 1768 и 13 779 долларов, экспорт — 14,3 и 169,6 млрд. долларов, продолжительность жизни — 66 и 70 лет; количество студентов — 403 тысячи и 1927 тысяч, количество автомобилей — 5,2 млн. и 19,4 млн.” («Польска», 4 мая)

- „4 июня 1989 г. стало результатом совместных усилий той части номенклатуры, которая пошла за генералом Войцехом Ярузельским, той части преследуемой оппозиции, которая решилась сесть за стол переговоров с преследователями, той части поляков, которая пошла в тот день голосовать, и, наконец, Святого Духа, который заботился обо всем этом через церковных иерархов (...) Это очевидный праздник всех нас, символический, но реальный конец диктатуры и советского господства в Польше (...) Конечно, прежде всего этот день — праздник «Солидарности» (...) Но это и праздник лучшей на тот момент фракции компартии — «ярузельской» (...) 4 июня вместе с системой, в которой они выросли и которой служили,

они позорно и справедливо проиграли. Однако на выборы согласились (...) Потом признали их результат. Они сыграли важную историческую роль и заслужили право на правдивую, а значит, и добрую память. И на участие в торжествах по случаю 20 й годовщины того дня. Произносятся имена приглашенных из Польши, из Европы, со всего мира. А о них ни слова, как о прокаженных”. (Вальдемар Кучинский, «Газета wyborcza», 3 мая)

- „Я поехала в Берлин (...) В Haus am Checkpoint Charlie [музее на бывшем КПП «Чарли»] привлекает внимание выставка «От Ганди до Валенсы», рассказывающая о мирных методах борьбы. Там есть, в частности, фотографии Валенсы времен забастовки «Солидарности» на Гданьской судовой верфи”. (Моника Куц, «Газета wyborcza», 30-31 мая)

- Согласно опросу ГФК «Полония», 24% поляков считают, что демократия в Польше функционирует хорошо, 37% — что плохо, еще 37% — ни хорошо, ни плохо, а 2% не имеют мнения на этот счет. Деятельностью политических партий удовлетворены 8% поляков, недовольны 62%, «ни хорошо, ни плохо» выбрали 26%, а еще 4% затрудняются с ответом. («Жечпосполита», 29 мая)

- „В среднем в Европе своим политикам доверяют 10% граждан (...) В Польше доверие выражают от 3 до 5% (...) Польша — одна из немногих стран, где доверие к Европейскому парламенту больше, чем к собственному”. («Польска», 5 июня)

- «Согласно опросу ЦИМО, 65% поляков плохо оценивают деятельность правительства, 71% критикует работу президента Леха Качинского, а 50% считают, что премьер-министр Дональд Туск плохо справляется со своими обязанностями”. («Жечпосполита», 19 мая)

- Проф. Станислав Гомулка, бывший замминистра финансов, главный экономист «Business Center Club»: „Самая большая проблема правительства заключается в том, что оно не может проводить в жизнь свои концепции. Дыру в бюджете оно могло бы залатать, скажем, подняв некоторые налоги, но на такое предложение почти наверняка наложит вето президент Качинский. В свою очередь, у ГП нет в Сейме большинства, которое позволило бы отклонить такое вето. Таким образом, мы имеем политический клинч. Выход из него могут дать досрочные выборы. Избиратель должен решить, кому поручить вывести нас из кризиса. Это, пожалуй, единственный способ вырваться из этого пата”. («Польска», 19 мая)

• «Письма в редакцию: (...) Неудачная расстановка политических сил привела к тому, что премьер и президент не только представляют разные взгляды на экономическое развитие Польши и по-разному определяют ее место в мире, но и оба претендуют на пост президента на грядущих выборах. В их личной войне проигрываем мы все (...) Александра, студентка». («Польска», 28 мая)

• Дорота Масловская, автор «культовой» книги «Польско-русская война под бело-красным флагом», по мотивам которой снят одноименный фильм: „Все борются или за достижение стабилизации, или за ее сохранение. После стольких лет бедности поляки все еще не наелись (...) Но это не единственная причина, по которой на польском пространстве нет понятия «мы». Нас разделяет прошлое. Ведь здесь, по соседству, в реалиях одной страны, живут люди, которые выросли при разном политическом строе, как бы в совсем разных мирах. Отсюда настолько разные, совсем не согласующиеся друг с другом варианты событий. И все вырывают друг у друга микрофон, чтобы оповестить, что лишь их мнение истинно. Некоторые пережили войну и коммунизм, другие — только коммунизм, третьи — посткоммунизм, за ними идут следующие, и они уже будут знать только «Макдональды». И тоже будут пробиваться к микрофону. Пока мы остаемся народом, как бы пережившим несчастный случай, — на этапе хаотического выяснения, что же на самом деле случилось”.

(«Ньюсуик-Польша», 24 мая)

• „От других стран региона Польша отличается невиданным масштабом послевоенной миграции из традиционной деревни в города. Это называли «омужичиванием» городов (...) Сельские культурные модели были внесены как багаж посткрестьянского послевоенного общества, из которого сформировалось новое городское население (...) Это большинство хорошо чувствует себя в атмосфере семейного и группового эгоизма, оборонительно-агрессивного отношения ко всем вокруг, к любым инициативам и новым идеям, к решениям любой власти и к каждому предложению постараться понять друг друга, прийти к согласию (...) Что нужно сделать, чтобы мы захотели взять в свои руки общественную жизнь?» (Тереса Богуцкая, «Газета wyborcza», 6-7 мая)

• Ильфи Нвамана, прозаик, англист, нигериец, с 2005 г. живет в Варшаве: „Когда я был здесь проездом, я думал: это европейская страна, так что политическая сфера должна быть здесь на продвинутом, зрелом уровне. Но во многих аспектах польская политика напоминает африканскую. Абсолютно детская

риторика. Потасовки и драки, как в песочнице. Я могу себе представить, что наш президент тоже устраивает сцену, чтобы ему принесли стул, потому что он хочет лучше слышать. Конечно, нигерийские лидеры не стесняясь крадут государственные деньги, и это продолжается уже много лет. В Польше не может быть и речи о воровстве в таком масштабе (...) Польша консервативная и очень католическая, если смотреть на количество церковных шпилей. А в смысле нравов — как раз наоборот, очень гибкая. Жить можно”. («Политика», 30 мая)

• „Только 15% респондентов ЦИОМа сообщили, что лично знают кого-то, кто берет взятки, — в 2000 г. об этом заявляли 29%. До 9% сократилось число тех, кто заявляет, что вручал взятку, — в 2000 г. их было 15%, а 7% признавались, что были попытки коррумпировать их самих (...) Меньше, чем несколько лет назад, оказалось и сторонников суровых наказаний за коррупцию — их число снизилось на 25% (...) По мнению поляков, больше всего коррумпированы политика и здравоохранение — 55 и 54%. На третьем месте суды и прокуратура — 29% (...) Только 16% упрекают в коррупции полицию”. («Жечпосполита», 23-24 мая)

• «3294,76 злотых составила средняя зарплата в предпринимательском секторе в апреле 2009 года. Это на 4,8% больше, чем год назад”. («Впрост», 31 мая)

• „Годовой показатель инфляции вырос в апреле до 4% (в марте он составлял 3,6%). В течение года больше всего возросли расходы на содержание квартиры и цены на энергоносители (10,5%), алкоголь и сигареты (9,8%), а также продукты питания (5,6%)”. («Впрост», 24 мая)

• „Уменьшение количества продукта в упаковке без снижения цены стало во время кризиса просто эпидемией (...) Это скрытая форма инфляции, потому что за те же деньги клиент получает меньше товара”. («Польска», 15 мая)

• „600 тыс. должников обивают пороги банков, чтобы получить кредит на погашение ранее взятых потребительских кредитов (...) Их общая сумма достигает 45 млрд. злотых. (...) Бюро кредитной информации подсчитало, что около 600 тыс. клиентов взяли уже более чем по шесть кредитов”. («Дзенник», 22 мая)

• «Банкам, телекоммуникационным фирмам, электростанциям и жилищным кооперативам мы задолжали уже 70,3 млрд. злотых. (...) С августа прошлого года наши долги возросли с 59 до более 70 млрд. злотых (...) Больше всего

приходится на непогашенные банковские кредиты — свыше 39 миллиардов (...) 20 млрд. злотых мы должны налоговому управлению (...) Почти 2 млрд. квартплат не заплатили жители жилищным кооперативам, четверть миллиарда — это неуплаченные штрафы, а еще почти полмиллиарда — алименты. Несколько сот миллионов злотых не заплачены за услуги телефонных операторов, газ и электричество». («Газета wyborча», 26 мая)

- Кризис заставил поляков экономить. Рост банковских вкладов достиг в конце апреля 25% по сравнению с прошлым годом, в то время как год назад этот показатель составлял 18%, а в позапрошлом году — 8%. («Дзенник», 27 мая)

- „Министр труда Иоланта Федак проинформировала, что уровень безработицы упал с 11% в апреле до 10,8% (1 689 млн. человек) в мае». («Дзенник», 3 июня)

- „Гданьская судовой верфь спасена. Вчера Брюссель в предварительном порядке принял план ее реорганизации, предложенный польским правительством. Верфь не должна будет возвращать почти 700 миллионов полученных до сих пор государственных дотаций. Возвращение этой суммы означало бы банкротство легендарного предприятия» — колыбели «Солидарности»». («Дзенник», 3 июня)

- В марте объем иностранных инвестиций уменьшился по сравнению с прошлым годом на 56% (407 млн. евро). В марте 2008 г. иностранные инвесторы вложили в экономику Польши 926 млн. евро. В целом первый квартал этого года (1,9 млрд. евро) оказался почти в два раза хуже прошлогоднего (3,4 млрд. евро). («Жечпосполита», 18 мая, «Дзенник», 19 мая)

- Из опубликованных вчера данных Главного статистического управления (ГСУ) следует, что в апреле предприятия произвели товаров на 12,4% меньше, чем год назад. «Нас ожидает дальнейшее падения уровня трудоустройства, потому что фирмы меньше производят (...) Но падение производства не углубляется, и похоже, что самое большое замедление — в январе и феврале — уже позади (...) У Польши большой внутренний рынок, а также очень дифференцированная промышленность. Иностранные концерны предпочитают производить продукцию у нас из-за дешевой рабочей силы и слабой роли профсоюзов (...) На фоне предприятий богатых стран ЕС наши заводы выглядят более современно (...) Благодаря этому Польша гораздо лучше справляется с кризисом, чем другие государства», — считает проф. Витольд Орловский». («Польска», 21 мая)

- „15,34 млрд. злотых составил бюджетный дефицит Польши на конец апреля 2009 года. Это эквивалентно 84,3% годового плана, в котором заложен в этом году дефицит в размере 18,2 млрд. злотых. До конца апреля доходы государства достигли почти 89,3 млрд. зл., т.е 29,5% запланированных. В то же время расходы превысили сумму 104,6 млрд. зл., т.е. 32,6% запланированных”. («Впрост», 31 мая)

- „Апрельский прогноз Всемирного банка предусматривает рост ВВП Польши на 0,5%, в то время как МВФ прогнозирует спад на 0,7%, а Еврокомиссия — на целых 1,4%”. («Газета выборча», 22 мая)

- „По последним данным Евростата, в настоящий момент польская экономика занимает 7 е место в Европе”. («Польска», 27 мая)

- „Польский ВВП (всё еще) растет (...) В пятницу ГСУ сообщило, что за первые три месяца этого года наша экономика выросла на 0,8%, а по сравнению с прошлым кварталом — на 0,4%. Это свидетельствует о том, что мы тратим деньги на товары и услуги. Со всем остальным уже хуже — по сравнению с последним кварталом 2008 г. инвестиции фирм упали на 0,9%, уменьшился также экспорт, а еще больше — импорт. В результате по сравнению с последними тремя месяцами прошлого года предприятия ограничили производство на 1,4%». («Жечпосполита», 30-31 мая)

- „Вчера «Евростат» сообщил, что в первом квартале этого года польский ВВП вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это лучший результат в Европе (...) Он отличается от данных, опубликованных несколько дней назад ГСУ (...) Разница вызвана различной методикой, используемой статистическими управлениями”. («Польска», 4 июня)

- Ярослав Бауц, бывший министр финансов: „Поляки задолжали банкам меньше, чем граждане других стран Европы. Поэтому банковский кризис у нас не носит острой формы (...) Польский ВВП растет, потому что мы не допустили роковых ошибок, как другие страны. Во-первых, мы ограничили бюджетные расходы. Во-вторых, мы — в числе немногих в ЕС — не попали в ловушку эмиссии пустых денег и антикризисных пакетов. Иначе говоря, мы не подливали масла в огонь. Самое сильное падение производства у нас уже позади. Производство будет сокращаться, но уже не так резко (...) К тому же у нас здоровая структура экспорта. В нашей машиностроительной и автотракторной промышленности не

наблюдается серьезного падения производства и экспорта”.
(«Дзенник», 1 июня)

- Проф. Януш Чапинский, Варшавский университет: „Все правительства осуществляют план Бальцеровича. Никто не решился отойти от его установок”. («Польска», 5 июня)

- Людвик Дорн, бывший маршал Сейма, бывший министр внутренних дел и администрации: „Пока всё неплохо. Если нам удастся минимизировать последствия кризиса, то даже при всех ошибках, неправильностях, недоработках, патологиях, я сочту, что удалось создать открытую, гибкую, выдерживающую сильное напряжение общественно-экономическую систему. Это не Венгрия, где правые и левые силы совместно и по взаимному согласию угробили государственные финансы (...) Легко заметить, что между Польшей и, например, Болгарией лежит пропасть (...) В Польше могла образоваться еще более сильная мафия, однако ее прижали (...) Стандарт обслуживания граждан в последние годы заметно улучшился. Самоуправленцы у нас — уж какие есть, значительная часть из них себе на уме, но даже они стараются заботиться о гражданах, о своей территории (...) Может, как раз пришло время испытания водой и огнем, но, вероятно, нам удастся пройти этот трудный период лучше, чем мы предполагали. Всё это реальные достижения (...) В Польше не сформировалось общепринятых и признаваемых справедливыми правил распределения общественного престижа (...) Постоянно идет борьба за престиж и признание. Без примирения поляков — не по принципу «любить друг друга», а по принципу «не пренебрегать друг другом» — интенсивность конфликта не уменьшится”. («Политика», 16 мая)

- „«Газпром» не увеличил поставок в Польшу, хотя его руководство завизировало договор с Польской нефтегазовой компанией (ПНГК) 11 дней назад и обещало быстро начать его осуществление. Руководство российского концерна не подписало договора, а совет директоров «Газпрома» его не утвердил”. («Жечпосполита», 19 мая)

- „«РосУкрЭнерго», швейцарский посредник «Газпрома» (...) с января не выполняет контракт (...) Таких проблем с импортом газа с востока нет ни у одной страны ЕС”. («Газета wyborcza», 22 мая)

- „К нам поступает лишь 70% газа, который должен быть импортирован нашей страной (...) Если Россия не увеличит поставок, зимой возможны отключения газа” («Дзенник», 25 мая)

- „Канадская фирма «SNC Lavalin Services Ltd.» от имени компании «Польский сжиженный газ» подала документы на разрешение строительства терминала сжиженного газа в Свиноустье. Документы рассматриваются Западно-Поморским воеводским управлением в Щецине (...) Необходимые для обеспечения энергетической безопасности капиталовложения переходят в стадию реализации (...) Терминал должен обойтись в 500 млн. евро и с 2014 г. позволит получать 2,5 млрд. кубометров газа в год (...) В будущем возможно удвоение пропускной способности, а сырье, вероятно, будет поступать из Катара”. («Наш дзенник», 22 мая)

- „Президент подписал указ о строительстве терминала сжиженного газа в Свиноустье (...) Строительство может быть закончено к концу 2013 — началу 2014 года”. («Дзенник», 28 мая)

- „«Газпром» начал новые поставки в Польшу (...) Совет директоров утвердил контракт с ПНГК на дополнительные поставки 1 млрд. кубометров газа до конца сентября. Обе стороны завизировали договор в начале мая, но «Газпром», вопреки своим обещаниям, задерживал его выполнение. Лишь после телефонного разговора вице-премьера Вальдемара Павляка с вице-премьером Сергеем Шматко российская сторона начала поставки”. («Жечпосполита», 3 июня)

- „Россия начала строительство нефтепровода BTS-2, который позволит Москве ограничить экспорт по нефтепроводам «Дружба» через Польшу и Украину. BTS 2 будет проложен от населенного пункта Унеча на границе с Белоруссией, куда доходят основные российские экспортные нефтепроводы, до Усть-Луги — порта недалеко от Петербурга. Благодаря этой инвестиции Россия сможет экспортировать нефть на Запад танкерами, в обход нефтепроводов, идущих через Белоруссию, Польшу и Украину”. («Газета выбора», 12 июня)

- „Брюссель поручил Польше координацию европейского проекта по очистке дна Балтийского моря от военной химии, затопленной там во время II Мировой войны. Речь идет о составлении точных карт и общем анализе ситуации, касающейся не только складов химического оружия, но и остовов токсичных судов (...) По осторожным подсчетам, речь идет приблизительно о 40 тыс. тонн химического оружия, не говоря уже о 300 тыс. тонн обычного оружия, находящихся на дне Балтики”. («Польска», 12 июня)

- „Начата реализация проекта энергетического моста, который соединит энергосистемы Польши и Литвы (...) Между

литовским Алитусом и Элком будет протянута 400 вольтная линия высокого напряжения длиной 154 км. Из них 108 км пройдут по польской территории. Строительство обойдется приблизительно в 236 млн. евро (...) Польско-литовский мост призван прежде всего импортировать из Литвы более дешевую электроэнергию с атомной электростанции Игналина 2, которая начнет работу в 2020 году”. («Дзенник», 19 мая)

- „Одна из крупнейших электростанций, чтобы получить льготы, решила производить значительную часть энергии путем сжигания экологической биомассы. Биомасса кончилась. Теперь электростанция покупает у Государственных лесов древесину и сжигает ее (...) Сжигать леса! Лесов-то у нас пруд пруди”. (Томаш А. Мош, «Газета wyborcza», 18 мая)

- „Польско-российская группа по трудным вопросам передаст руководству обеих стран письмо с предложениями решения проблем, уже много лет вызывающих у них разногласия. Так решили ее члены на последнем двухдневном заседании в Кракове (...) «Россияне приехали с явным желанием улучшать отношения институционально, а не ограничиваться одними разговорами», — сказал член группы проф. Ежи Помяновский”. («Жечпосполита», 30-31 мая)

- „В ответ на размещение в Польше американских ракет «Пэтриот», Россия разместит в Калининградской области ракеты «Искандер»”, — сказал представитель российского Генштаба. («Впрост», 31 мая)

- „«Польша поддерживает усилия Турции по вступлению в ЕС», — сказал вчера премьер-министр Дональд Туск на встрече с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Премьеры подписали договор о стратегическом сотрудничестве между двумя странами”. («Жечпосполита», 15 мая)

- Генеральный директор МИДа отдал распоряжение по министерству: женщины не должны носить платья и юбки короче, чем 75 мм выше колена, а также блузки с глубокими вырезами и без рукавов. Туфельки — только закрытые, самое большее — открытая пятка. («Польска», 5 мая)

- Доктор Анджей Конопацкий (Белостокский университет), сопредседатель Совместного совета католиков и мусульман с мусульманской стороны: „Принято считать, что татар-мусульман в Польше около 4 тысяч. Остальных мусульман у нас может быть до 25 тысяч. В их число входят приезжие, принявшие ислам поляки, дипломаты. Эти приблизительные показатели увеличиваются за счет беженцев из Чечни, бывшей

Югославии, Ирака. Мусульманский религиозный союз, создание которого было утверждено польским Сеймом в законе 1936 г., — традиционный оплот татар. Это крупнейшая структура, объединяющая мусульман в Польше. Мусульманская лига появилась недавно, к ней принадлежат приезжие из арабских стран, в т.ч. студенты и граждане, пребывающие в Польше временно. Третья группа — это беженцы, которые часто не принадлежат к этим организациям”. («Газета выборча», 23-24 мая)

- „Президент Лех Качинский пригласил в Польшу на каникулы детей из сектора Газы. 73 палестинца в возрасте от 8 до 15 лет (...) проведут три недели в пансионате в Мазовии (...) В их распоряжении будут бассейны, велосипеды, стадионы и другие развлечения (...) У них будут специальные занятия с психологами (...) так как они страдают навязчивыми страхами, депрессиями и другими заболеваниями, вызванными психологическими травмами (...) «К сожалению, это единственная такая программа. Ни одна другая страна мира не придумала ничего такого, как Польша», — говорит Махмуд Абу Аиша из палестинской организации «Gaza Community Mental Health Program»”. («Жечпосполита», 10-11 мая)

- „Активисты Общества правовой помощи заметили, что уже несколько месяцев подряд статус беженца получает значительно меньше чеченцев. Им редко выделяют и т.н. дополнительное вспомоществование. Все чаще чеченцев принудительно депортируют в Россию. Иногда пограничная охрана ведет себя грубо. Случается, что человека выдворяют из Польши сразу же после того, как решение о депортации вступает в силу (...) В рекордном 2007 г. убежища в Польше просили 10 тыс. чеченцев. С начала этого года — 1,2 тысячи. Около 4% получают статус беженца, менее 50% — дополнительное вспомоществование. Половину депортируют”. («Газета выборча», 18 мая)

- „Больная раком Светлана Яковлева и трое ее детей со вчерашнего дня стали гражданами Польши. Детям уже не грозит украинский детский дом. Решение об ускоренной процедуре получения гражданства принял президент Лех Качинский (...) На покрытие стоимости лечения сбросились жители Воломина и читатели «Газеты выборчей». Света прошла радиохимиотерапию и химиотерапию, но, хотя ее состояние стабилизировалось, опухоль не уменьшилась. Света одна воспитывает четверых детей: Паулину (9 лет), Кристиана (8 лет), Адриана (3 года) и Патрицию (1,5 года). Все они родились в Польше”. («Газета выборча», 20 мая)

• 129,6 тыс. граждан Украины, Белоруссии и России находились в Польше на сезонных работах до сентября 2008 года. Больше всего было украинцев — 118,8 тысячи. Из них на сельскохозяйственных работах было занято 71,8%, в строительстве — 21,49%, в домашнем хозяйстве — 6,71%. («Жечпосполита», 19 мая)

• „В 2008 г. польские центры занятости выдали разрешения на сезонную работу (на 6 месяцев в год) 18 тыс. работников с Украины. Год назад их было 12 тысяч. Резко увеличивается также число граждан КНР. В 2007 г. им выдано 800 разрешений на работу, а в 2009 г. — уже 2040, т.е. на 150% больше. Разрешение на постоянную работу получили в прошлом году 5400 украинцев, а в позапрошлом — 3851. По некоторым оценкам, число работающих нелегально граждан Украины может достигать 50 тысяч в год (...) В прошлом году удалось обнаружить только 611 нелегальных работников с Украины”.

(«Польша», 22 мая)

• „Пограничники из Устки разыскивают 11 граждан Непала, которые работали на фабрике мебели (...) под Слупском (...) Часть из них оставила в Слупске свои вещи, документы, паспорта (...) Непальцы приехали в Польшу в марте 2008 года (...) В январе этого года пропали три человека. На Пасху еще несколько. Позже был потерян след еще трех человек”.

(«Польска», 3 июня)

• „12 мая, когда сотрудники пограничной службы входили в квартиру, 27 летний вьетнамец выскочил из окна. Он скончался на месте. Вероятно, он боялся встретиться с вьетнамской госбезопасностью (...) В Польше, в среде вьетнамских эмигрантов, активно действует оппозиция (...) До сих пор вьетнамская служба безопасности из отделения А 18 (борющаяся с оппозицией в эмиграции) побывала в Польше четыре раза. А 18 пытается склонить задержанных к сотрудничеству, пугает их немедленной депортацией (...) На этот раз операцию по поимке вьетнамцев организовал «Фронтекс» — европейская организация, занимающаяся охраной границ ЕС”. («Газета wyborcza», 23-24 мая)

• „Вьетнамская госбезопасность действует в Польше с согласия польских властей. Она запугивает вьетнамцев и часто решает, кто из них получит убежище, а кто нет. Тех, кто имеет право рассчитывать на защиту от преследователей, мы, как правило, отдаем в их руки (...) Потому что сегодня, чтобы попасть в круг жертв, недостаточно быть просто человеком. Нужно быть евреем, гомосексуалистом, женщиной, нищим, вегетарианцем... А лучше всего — постоянным жителем

Европы (...) Для нас свобода и справедливость, для других ад — вот и всё, что осталось от европейского гуманизма (...) И нет гарантии, что привычка отказывать в основных правах «внешним чужакам» под влиянием каких-либо обстоятельств не будет распространена и на «внутренних чужаков». На нас”. (Марек Бейлин, «Газета выборча», 23-24 мая)

• „«В нашем городе снова произошел акт расовой ненависти — жестокого нападения на чернокожего студента нашего вуза (...) В последние годы в Варшаве жертвами таких нападений пало много людей (...) вся вина которых состояла в другом цвете кожи (...) Мы не можем и не хотим этого терпеть», — написал в открытом письме президенту (мэру) Варшавы Ханне Гронкевич-Вальц и коменданту столичной полиции Адаму Муляжу проф. Эдмунд Внук-Липинский, ректор Collegium Civitas”. («Газета выборча», 22 мая)

• „«После 1989 г. в Польше поставлено более пятисот памятников Папе Иоанну Павлу II (...) Авторы этих памятников — чаще всего те же люди, которые до 1989 г. создавали скульптуры несколько иного содержания. Проф. Мариан Конечный — автор и памятника Ленину в Новой Гуте, и памятника Папе в Лихене”. (Цезарий Поляк, «Дзенник», 27 мая)

• „Преступники, осквернившие еврейское кладбище в Хшанове, уже в руках полиции. Это трое местных гимназистов, в т.ч. девочка — всем по 14 лет. С 18 февраля по 9 марта они осквернили 52 мацевы”. («Польска», 16-17 мая)

• „Доктор Марек Эдельман, единственный ныне здравствующий руководитель восстания в варшавском гетто в 1943 г., получил вчера титул почетного доктора краковского Ягеллонского университета”. («Газета выборча», 9 июня)

• „Запущенный в марте люблинский портал Православного интернет-радио (ПИР) можно назвать новаторской идеей (...) Его адрес: www.prilublin.eu (...) Портал был сконструирован по принципу подкастов. Это аудиоматериалы, выложенные в форме файлов (...) В любой момент и в любом месте мира можно подключиться к Интернету, щелкнуть на страницу и послушать передачу (...) Почтовый ящик радио: pri@lublin.eu”. («Пшеглэнд православный», май 2009)

• „1,9 млн. поляков — студенты. 1,27 миллиона из них учатся в государственных вузах, 660 тысяч — в частных. По данным ГСУ, лишь 14% молодежи выбирают технические или естественно-математические специальности (...) Самой большой

популярностью пользуются менеджмент, педагогика, юриспруденция и экономика”. («Впрост», 31 мая)

• „В столице бесчинствуют хулиганы (...) Только за пять месяцев этого года полиция зарегистрировала 2167 случаев порчи имущества. Это на 11% больше, чем год назад (...) Управление городского транспорта и другие перевозчики потратили в прошлом году 3 млн. злотых на починку подвижного состава и остановок. Немного меньше, 900 тысяч, поглотил ремонт поврежденных автобусов (...) Городская охрана и полиция задержали на месте преступления сто хулиганов, портивших автобусы (...) Работники Польской телекоммуникации починили с начала года уже 19 телефонных автоматов (...) Доктор Мирослав Пенчак, Варшавский университет: «Не надо нагнетать атмосферу страха перед хулиганами»”. («Жечпосполита», 25 июня)

• „В прошлом году поляки купили более 147 млн. книг почти на 3 млрд. злотых. Это на 12,4% больше, чем в 2007 году (...) Лидером на рынке осталась группа «Польске издавництва наукове» («Польские научные издательства»), доходы которой выросли на 44%, до 196 млн. злотых (...) Несмотря на кризис, продажа книг продолжает расти». («Жечпосполита», 21 мая)

• „62% поляков не прочитали в течение года ни одной книги. Согласно исследованиям Национальной библиотеки и ЦИМО, число читателей в Польше достигло самого низкого уровня с 1992 г., когда за ним стали систематически наблюдать (...) Самое сильное сокращение зафиксировано среди мужчин, жителей малых и средних городов, а также групп, считающихся «читающими», — подростков и людей со средним образованием». («Пшеглэнд православный», май 2009)

• „На закончившейся вчера 54 й Международной книжной ярмарке была отмечена рекордная посещаемость. В этом году на ярмарке побывали 51 652 человека. Год назад их было 45 тысяч (...) Ярмарка проходит с четверга до воскресенья во Дворце культуры и науки. В ней приняли участие почти 500 издательств из 31 страны». («Дзенник», 25 мая)

• „Пинки, крики, битье палками и принуждение к многочасовому стоянию под жгучим солнцем без питья и еды — все это сняли скрытой камерой борцы за права животных во время конных торгов в Паенчном под Лодзью. Они готовят по этому делу три заявления в прокуратуру (...) На сайте паенченского магистрата помещен подробно иллюстрированный отчет с торгов. Из описания следует, что мероприятие удалось, а кони так прекрасно выглядели, что

гости — в т.ч. и заграничные — не переставали восхищаться”. (Магдалена Копанская, «Польска», 19 мая)

- „Сотрудники Морской станции Гданьского университета в Хеле выпустили вчера в Балтийское море трех молодых тюленей (...) Два серых тюленя родились в тюленьем питомнике Морской станции в марте этого года. Третий, из редкого вида балтийских кольчатых нерп, был найден на хельском пляже в мае”. («Наш дзенник», 10–11 июня)

- „В микрорайоне жилищного кооператива «Имелин» — 86 блочных домов и самое большое в Варшаве скопление стрижей. Весной кооператив начал утепление домов. «Строители закрывают пенопластом гнезда, в которых самки высиживают яйца. У стрижей нет шансов на выживание», — бьет тревогу Дорота Зелинская из Столичного общества охраны птиц (...) «Мы расследуем это дело. Если информация госпожи Зелинской окажется верной, кооператив «Имелин» понесет наказание», — говорит Анна Олексяк из районной комендатуры полиции Варшава 2 (...) «Затыкать гнезда в этот период — варварство (...)», — считает проф. Мацей Люняк из Института зоологии Польской Академии наук”. («Газета wyborcza», 13–14 июня)

- „С 1994 г. Общество «Pro Natura» (...) начало кампанию по защите гнезд белого аиста, заключающуюся в финансировании их восстановления. Гнезда разместили выше уровня высоковольтных линий, благодаря чему на подлете к гнездам аисты стали реже ударяться о провода, что часто заканчивалось смертью или увечьями птиц. В то же время сократилось число замыканий и отключений электроэнергии, вызванных опирающимися на провода гнездами (...) Платформы поставлены также на крышах, деревьях и трубах, врыты отдельные столбы с платформами, подрезаны затрудняющие подлет к гнезду ветки, уменьшены слишком большие многолетние гнезда, из которых устранены опасные для птенцов веревки (...) Всего разнообразной защитой охвачено 11 тыс. гнезд, т.е. около одной пятой гнезд в стране”. (Адам Гузьяк, «Жечпосполита», 30–31 мая)

- „Министр лесного хозяйства создал на Вислинской косе заповедник бакланов. Поначалу его площадь составляла менее 11 гектаров соснового леса. Шел 1957 год. Два года спустя на старых деревьях гнездились уже 117 пар бакланов. Через 40 лет заповедник расширился до ста с лишним гектаров, что вместе с охранной зоной дало более 165 га охраняемого пространства. Два года назад колония бакланов насчитывала уже 11 тыс. пар, а вместе с вылупившимися птенцами — почти 40 тыс. птиц (...)

Через год-два истребленная бакланами мелюзга, ерши, которым человек не придает значения, отомстят бакланам и ограничат их популяцию. Так же, как переловленная человеком рыба отомстила человеку и уменьшила количество рыбаков”. (Дариуш Козленко, «Ньюсуик-Польша», 24 мая)

- „Региональная Дирекция охраны окружающей среды в Белостоке выдала разрешение на отстрел 200 бакланов (...) «Баклан справляется с рыбой лучше, чем удочка», — объясняет Петр Конопакский, владелец фирмы, торгующей рыбой (...) Бакланов слишком много из-за отсутствия естественного врага, которым испокон веков был орлан. Однако этих орлов сейчас чрезвычайно мало”. (Адам Бялоус, «Наш дзенник», 10-11 июня)

- „Орлану-белохвосту, символу Польши, грозит вымирание. Птицы, которые соединяются в пары на всю жизнь и верны друг другу до самой смерти, погибают от отравы для лисиц, раскладываемой крестьянами (...) Орланов в Польше меньше 700 пар. С начала года лесники и орнитологи нашли уже несколько десятков мертвых птиц (...) Эксперты подозревают, что люди специально отравляют орланов (...) Сельские жители обрезают орлам когти”. (Матеуш Вебер, «Дзенник», 14 мая)

ФАДДЕЙ ЗЕЛИНСКИЙ В ПЕРЕПИСКЕ С МЛАДШЕЙ ДОЧЕРЬЮ АРИАДНОЙ

Дорогая моя Адочка!

О моей жизни расскажет тебе мама, тебя же прошу, так же как и Тamarусю, чтобы вы писали мне чаще про вашу, особенно когда у мамы нет времени. Мне хочется знать, что вы делаете в течение всего дня, с кем видите и разговариваете, тоже и о чем разговариваете, о чем думаете и мечтаете, что желаете в настоящем и будущем. Я прислал вам денег на фотографию, она даст мне представление о вашей наружности; но о вашей душе мне могут дать представление только ваши письма. Помню, в Затулении^[1], мы гуляли вчетвером. Разговор был с мамой обо мне; ты, слушая, вдруг зашагала своими маленькими ножками ко мне, протянула мне свою ручонку и решительно заявила: «Это наш папа!» И много другого я помню из вашей детской жизни, и хотя судьба нас разлучила, но мне сладко думать, что у меня есть далеко мои любимые дочки, и что я могу работать на них, заботиться о их судьбе. И ты, моя дорогая, помни об этом и, когда будешь думать обо мне, повторяй свои детские слова: «Это наш папа!» Крепко целую тебя с сестрицей.

Твой папа.

Эти строки обращены к младшей дочери Ф.Ф.Зелинского Ариадне (Адочке). Листок, обветшавший от времени, не имеющий ни даты, ни указания на местонахождение адресата и отправителя, вот уже девятый десяток лет хранится ею как драгоценная реликвия. Из содержания понятно, что он был вложен в конверт с письмом, полученным некогда матерью Адочки и Тamarуси. Кто же они — три эти женщины, о ком так нежно заботится профессор? К какому периоду его жизни относится процитированное выше письмо? Как складывались и чем завершились его отношения с этими не известными пока биографам Зелинского людьми?..

Источники, позволяющие ответить на поставленные вопросы, хранятся в личном архиве Ариадны Фаддеевны, которая и поныне живет в Ростове-на-Дону. К ним относятся письма Фаддея Францевича, его старших детей Феликса и Аматы;

мемуары самой Ариадны Фаддеевны, опубликованные в сокращенном виде в ростовском журнале «Ковчег» (2005, №№ VII–VIII, электронная версия http://www.kovcheg-kavkaz.ru/issue_7_52.html; http://www.kovcheg-kavkaz.ru/issue_9_108.html), и незаконченные воспоминания ее матери Софьи Петровны Червинской, существующие в рукописи.

Летом 1910 г. профессор Ф.Ф.Зелинский с группой слушательниц Бестужевских курсов совершил поездку в Грецию. Поездка эта стала поворотным моментом в личной судьбе знаменитого ученого: на пароходе начался его роман с восемнадцатилетней девушкой, которая, как он позднее писал, стала его последней любовью.

Софья Червинская, дочь известного деятеля земской статистики, в прошлом литератора народнического направления Петра Петровича Червинского (1849—1931), окончила в Петербурге немецкую гимназию, а затем поступила на Высшие женские (Бестужевские) курсы. Зелинский состоял в попечительском совете гимназии и уже там обратил внимание на способную ученицу, прекрасно успевавшую по всем предметам, но отличавшуюся при том шаловливым нравом и неоднократно распекаемую на педсоветах за свои проказы. С невольной ее шалости началось и их знакомство в новом качестве. Девушка по ошибке отворила дверь каюты профессора, и тот навсегда запомнил капли вишневого сока на воротнике белой блузки... Вскоре у Зелинского появилась новая семья и две маленькие дочурки — Тамара (Тамаруся) и Ариадна (Адочка)...

Ариадна Фаддеевна вспоминает: «Отец окружил новую семью заботой и любовью. Была снята прекрасная квартира, нанята прислуга, таким образом, мама была свободна от бытовых забот и могла продолжать учебу. Лекции Фаддея Францевича пользовались большим успехом не только в России, но и за рубежом. В свою морскую поездку во Францию он взял с собой маму и маленькую Тамару. Позднее в одном из писем он подробно рассказывал об этом путешествии, во время которого у Тамары прорезался зуб. Его попутчики шутя поздравляли его с «зубастой» дочерью. Когда появилась его самая младшая дочь, т.е. я, он любил меня не меньше, чем Тамару. У нас были замечательные массивные золотые кресты с выгравированными на них надписями «Спаси и сохрани», именная серебряная посуда, дорогие ожерелья, у меня вишнево-красное гранатовое, у Тамары голубое, прекрасные книги... И много чего еще у нас тогда было. Отец делал всё,

чтобы наше детство было счастливым, и готовил нам блестящее будущее. Но все мечты разрушила советская власть...»

В «Автобиографии» 1924 года («Новая Польша», 2005, №12) Ф.Ф.Зелинский подробно рассказывает о сложных обстоятельствах своего возвращения на историческую родину. Вероятно, самым существенным из них была забота о безопасности своих близких, оставшихся в Совдепии, как называл советскую Россию профессор, фактически в качестве заложников. Имея уже статус профессора Варшавского университета, он вынужден был в тяжелые годы разрухи, вызванной гражданской войной, оставаться в Петербурге.

Софья Петровна с двумя маленькими дочками в это время жила в Анапе, откуда вернулась в Петроград осенью 1920 года. Оказалось, что квартира ее «экспроприирована» революционным матросом, вместе со всей обстановкой и даже детскими игрушками. «Я позвонила по телефону Фаддею Францевичу, — пишет она в своих воспоминаниях. — Он пришел очень скоро... Решено было, что самый естественный выход для меня будет работать в детдоме, т.к. там будут и дети при мне, и в продовольственном отношении мы будем обеспечены. Меня устроили в один из очень хороших детдомов — бывший немецкий церковный приют. Трудности путешествия из Анапы в Петроград не прошли для меня даром — я сильно заболела... Доктор детдома определил у меня тиф... Фаддей Францевич навещал меня каждый день и приносил мне для чтения романы Вальтер-Скотта (для успокоения нервов), и в этом он оказался вполне прав — это действительно оказалось успокаивающим и отвлекающим от тяжелых и навязчивых мыслей и воспоминаний чтением...»

К лету 1921 года Софья Петровна оправилась от болезни и вместе с дочерьми уехала в Полоцк. Накануне отъезда, вспоминала она, «Фаддей Францевич усыновил наших детей, дав им и мне свою фамилию... Поезд наш тронулся, и мне запомнился на всю жизнь этот момент — Фаддей Францевич шел за поездом и горько-горько плакал. Оказалось, что это действительно было последнее наше свиданье!...»

Причину отъезда семьи в Полоцк, пограничный тогда с Польшей город, Ариадна Фаддеевна объясняет так: «Из рассказов мамы и писем отца известно, что он перед своим окончательным отъездом в Варшаву решил отправить нас до времени, когда он устроится на новом месте, к крестной Тамары в Полоцк. Впоследствии мы должны были уехать к нему в Варшаву. Все необходимые для этого документы были им

подготовлены и находились у мамы. Но по приезде в Полоцк случилось то, чего никто предвидеть не мог и что в корне изменило нашу дальнейшую судьбу. Мама познакомилась с одной из монахинь и всецело подпала под ее влияние. Она решила уйти в монастырь, взяв с собой и нас с сестрой. Это было тяжелым ударом для отца».

Ф.Ф.Зелинский окончательно обосновался в польской столице в апреле 1922 года, и сразу началась его переписка с Полоцком.

8 мая 1922, Варшава.

Дорогая моя умница Адочка. Это уже вторая открытка, которую я тебе отсюда пишу. Надеюсь, что ты получишь их от меня еще много, но что мы все-таки еще увидимся, и другой разлуки уже не будет. Но и ты меня не забывай и пиши мне усердно. Я теперь уже совсем здоров, много хожу и читаю лекции. Все меня здесь любят, и было бы совсем хорошо, если бы только вы, мои дорогие, были со мною. (...) Крепко тебя целую, моя сладкая дочурка. Твой папа.

Как следует из этих слов, отец еще надеется на скорую встречу с дочерьми, но надежды эти вскоре угасают — и единственным способом общения остается переписка. С перерывами, о причинах которых будет сказано ниже, она продолжалась до лета 1937 года. Большую часть сохраненной Ариадной корреспонденции 20 х годов составляют открытки с видами достопримечательностей европейских стран, где знаменитый ученый и писатель бывал в качестве желанного и почетного гостя. По этим открыткам можно проследить географию путешествий Зелинского. Так, 15 февраля 1925 г. он сообщает о маршруте ожидающего его путешествия: «...из Вены еду пароходом в Будапешт, далее в Белград, далее в Софию и Болгарию вообще, а на обратном пути и в Бухарест... Буду читать лекции. Пока сопровождайте меня туда мысленно по открыткам, какие буду вам присылать...» Открытки приходят из Ульма, Рима, Гейдельберга, Праги, Венеции, Гамбурга, Риги, Кракова, Копенгагена, Лунда, Висбю, Нюрнберга, Локарно, Генуи, Барселоны...

Затем, после короткой записки, адресованной Ариадне, переписка дочерей с отцом на несколько лет прервалась:

22 декабря 1930, Варшава.

Дорогая моя Адочка, послал тебе на днях короткое, но содержательное письмо, а это так, сверх абонемента. Надеюсь, вы найдете досуг, чтобы написать мне о себе; ты, конечно, понимаешь, как дороги мне ваши письма, кроме вас самих писать

мне про вас некому — тот источник, который был, давно иссяк, а почему иссяк, до сих пор не знаю и догадаться не могу. Целую тебя крепко, моя ты девочка, не забывай меня. Твой любящий — — —

Что же произошло? И почему вместо привычной подписи папа стоит загадочный прочерк?..

Разумеется, обласканному славой ученому, радостно привечаемому всей культурной Европой, сложно было представить, в каких условиях живут его малолетние дочери, есть ли у них возможность хотя бы мысленно сопутствовать отцу в его увлекательных путешествиях. Софья Петровна с дочерьми жила в монастыре, при котором существовал детский дом. Но в 1925 г. монастырь был ликвидирован советскими властями. Бывших монахинь выселили за 20 километров от города на дикое необжитое место, где остались громадные пни от вырубленного в годы войны леса. Там они образовали артель, названную «Пеньки». Вместо учебы малолетним девочкам пришлось проходить суровую «школу жизни»: они пасли коров и коз, сами добывали себе еду. Вспоминая об этом времени, Ариадна Фаддеевна замечает: «Наш отец был в отчаянии от того образа жизни, который мы вели. Он писал маме: «Зачем ты затащила детей в эту дурацкую обстановку? Им надо получать образование, изучать языки, музыку, а не проводить всё время с коровами и в навозе». Но что он мог поделать, находясь по ту сторону «железного занавеса», уехать же к нему и тем более отдать нас мама не соглашалась. Отец писал нам письма, полные любви и заботы, присылал деньги и посылки, но это не улучшало нашей жизни. Деньги уходили на постройку дома и хозяйственных пристроек, а также на пожертвования в артельную казну, а мы зарабатывали свой насущный хлеб тяжелым трудом и одевались очень бедно... И все-таки я мечтала о встрече. Часто, находясь со своим стадом под нескончаемым осенним дождем, промокая насквозь и продрогшая, я представляла себе, что папа приедет, увезет нас, и мы будем неразлучны с ним в этой новой счастливой жизни. Увы! Этим мечтам никогда не суждено было сбыться. Появиться в «нашей юной прекрасной стране» нашему отцу было не только невозможно, но и опасно».

А вскоре и в переписке с отцом возникли сбои. «Мама написала ему, чтобы он не подписывал свои письма и открытки «твой папа», так как это для нас опасно. В свою очередь, мы не должны были обращаться к нему «дорогой папа», а писать «дорогой крёстный». Документы, удостоверяющие его отцовство, мама при нас, без нашего согласия, сожгла в печке, и

мы из Зелинских стали Червинскими, по девичьей фамилии матери. Это выглядело тем более нелепо, что официально переписка с заграницей вовсе не была запрещена и наша страна провозглашалась самой свободной в мире, но на деле те, кто имел родственников и друзей за границей, считались политически неблагонадежными. Для папы это было большим горем. Он возмущенно писал маме: „Ведь я не эмигрант, а гражданин дружественного государства, и переписка со мной никого компрометировать не может...”»

В этом Фаддей Францевич глубоко заблуждался. Он, гражданин свободного государства, для которого были открыты границы практически всех европейских стран, был далек от реалий существования жителей «Совдепии». А Софью Петровну и ее малолетних дочерей начавшиеся 30-е годы не раз ставили на грань катастрофы.

В период раскулачивания мать Ариадны и Тамары была арестована «за организацию лжеколхоза» и попала в тюрьму. Чтобы выжить, осиротевшие несовершеннолетние девочки вынуждены были стать членами колхоза, где их ждал каторжный труд и униженное положение «социально-чуждых элементов». После полутора лет заключения Софью Петровну освободили, но вскоре арестовали снова. Ариадна Фаддеевна вспоминает: «Однажды, возвращаясь зимним вечером из школы, мы с удивлением заметили стоящий около нашей избы автомобиль. Войдя в дом, увидели, что двое мужчин в форме ГПУ производят обыск, перерывая и перетряхивая всё. Их удивляла нищенская обстановка, в которой мы жили. Они спрашивали маму: «Ведь вы получали от отца ваших детей крупные суммы денег. Куда же они девались? Почему вы живете так бедно и ваши дочери так плохо одеты?» Закончив обыск и не найдя ничего интересного, они забрали все произведения нашего отца, в том числе прекрасное издание его перевода трагедий Софокла, письма отца и старинную Библию, которой мама очень дорожила. Маму увезли...». Освободили ее лишь через полгода. «Следствие установило, что мама не была связана с японской или какой-либо иной разведкой, не передавала на шпионские цели присылаемые нашим отцом деньги...».

Для выпускницы Бестужевских курсов в колхозе нашлась работа старшей свинарки. А ее дочерям после массы драматических событий, вопреки запретам властей, удалось поступить в Полоцкий строительный техникум. Тогда, в 1934 г., они осмелились возобновить переписку с отцом. «Ответ пришел очень быстро. Отец писал, что все эти годы нашего

молчания жил в постоянной тревоге за нас. Он был рад, что нам удалось выбраться из глухомани и мы хоть где-то учимся. Еще он сообщил, что будет помогать нам материально, но уже не в тех размерах, как прежде. «Моя рука уже не так сильна, годы берут свое». Но ежемесячно мы будем получать от него на Торгсин по десять долларов. Вскоре пришли и наши доллары. Мы были просто ошеломлены свалившимся на нас богатством и впервые в жизни могли распоряжаться им по своему усмотрению. Как в волшебной сказке у нас появилось всё, чего мы только могли пожелать и чего были так несправедливо лишены в убогом детстве. Нарядные платья, туфли из хорошей кожи на высоком каблуке, красивые шубки, модный тогда красный берет у меня и белый у сестры. Мы впервые узнали вкус сливочного масла... Маме пока не удавалось устроиться на работу по специальности из-за ее монашеского и тюремного прошлого, о котором в Полоцке знали. Но папины доллары давали нам возможность жить безбедно».

Письма Фаддея Францевича, сохраненные Ариадной, напечатаны на пишущей машинке, русские слова переданы в латинской транскрипции. Только заключительную подпись он продолжает ставить от руки, лишь иногда вспоминая о требуемой «конспирации».

3 февраля 1935, Варшава.

Дорогая моя дочурка Адочка!

Спасибо за твое письмо, но мне хотелось бы узнать от тебя много больше. <...> Повторяю свои вопросы относительно вашей мамы, которые я вам поставил в своем последнем письме. Не может же она не понять, что для всех было бы лучше, если бы она перестала дуться на меня, к чему я ей никакого повода не подавал, и возобновила переписку со мной. Прошлого не изменишь, а действительность такова, что она вам мать, а я — отец, и что общая забота о вас должна нас поэтому соединить. Пусть же она образумится; упреков с моей стороны ей бояться нечего, хотя поводов к этому много. А пока напишите вы мне про нее. А если у вас есть об этом вопросы или недоумения, напишите и об этом смело: у меня секретов от вас нет, и кроме любви вы от меня не встретите ничего.

Моя жизнь по-прежнему деятельна; треплют меня изрядно: то — статью написать, то — доклад прочесть; и то и другое выходит у меня недурно, почему я и не отказываю, поскольку времени хватает. Про свое ноябрьское путешествие в Швецию я вам писал, теперь, в феврале, хотели было послать меня в Гельсингфорс на торжества в честь Калевалы, но я увильнул — уж очень неудобное

время для поездки на такой далекий север. Зато мне улыбается другой план: в апреле в Ниццу на один международный научный конгресс. Наш факультет избрал меня делегатом, да и организаторы конгресса просят принять участие; к тому же и время удобное — роскошная южная весна. Если вы когда-нибудь слышали про Ниццу, то должны знать, что эта местность считается раем земным, соприкосновение двух красот, Альп и моря, но зато это город, как я его называю, патентованной праздности, столица всякого международного сброды, который туда съезжается, чтобы транжирить деньги. В другое время я бы и не поехал, но раз там научный конгресс, то это меняет обстановку. Одним словом, поеду охотно, если это будет научной командировкой, т.е. если дадут денег на поездку, так как ясно, что на свои ехать не могу. Думаю, что это определится в течение этого месяца; меня ведь здесь вообще балуют.

Еще могу вам сообщить, что в мою голову влюбился один из лучших здешних живописцев и написал с меня портрет, который теперь красуется здесь на выставке, а на весну будет отправлен в Париж на так называемый «весенний салон». Сам я этим портретом очень доволен и нахожу, что это лучший из всех, которые с меня написаны. Теперь я, значит, увековечен и в ваянии и в живописи. В следующем письме пошлю вам фотографию с него; сами увидите.

(...) Одним словом, повторяю: меня здесь балуют; даже в карикатуры и в оперетку попадаю, что тоже свидетельствует о популярности. Но при всем том меня не оставляют мысли и заботы о моих дочках, которым я мечтал изготовить такую хорошую будущность под моей опекой и с которыми живу в безнадежной разлуке. Будем же ее обезвреживать по мере возможности и не прибавлять к неизбежному горю еще лишнего. Крепко тебя целую; пиши как можно чаще. Любящий тебя папа.

9 апреля 1935, Варшава.

Дорогая моя меньшуха!

Моя совесть перед тобой этот раз исключительно чиста: 22 марта послал тебе вместе с твоей сестрицей по письму, 29 го еще одно на фотокарточке, а теперь пишу еще. 1 го числа отправил вам опять через Торгсин 15 долларов; надеюсь, что они уже будут в ваших руках, когда эти письма до вас дойдут. Это было очень мило со стороны Тамаруси, что она по случаю твоего дня рождения уступила тебе из общей суммы большую часть; вообще меня радует всё, что свидетельствует о вашей привязанности друг к дружке, мои вы бедные сиротки. Считайте и впредь эту привязанность лучшим залогом для будущего. И еще хотелось бы

прибавить, но пойми меня как следует: помните всегда, что вы — Зелинские, хотя и называетесь иначе. (...)

Твоя сестрица мне писала о своих планах касательно высшего образования; а твои желания тут какие? То, что я ей ответил, относится отчасти и к тебе: я желаю, во-первых, чтобы вы не разлучались, а во-вторых, чтобы вы переехали для этого в столицу, так как ее средства образовательные несравненно больше, чем в провинции^[2]. Если бы моя жизнь уложилась так, как я это предполагал для себя и вас, то вы бы и не выезжали из нее; почему я перевел вас в Полоцк, это вы знаете: по тогдашним условиям и вашем малолетстве это было самое лучшее, что я мог сделать для вас, и было бы на время совсем хорошо, если бы ваша мама больше слушалась моих советов. Но теперь этих условий больше нет, и приходится думать о переселении в столицу, тем более что там живет та очень мне дорогая особа, о которой я тебе, Адочка, в свое время писал^[3].

Это — мое последнее письмо вам до отъезда за границу. Отъезд наступит дней через десять; надеюсь до того времени получить по письму от вас. (...) С пути буду вам посылать только открытки с видами: так как у меня пишущей машины с собой не будет, то и писем нельзя будет писать — вы ведь знаете, какой у меня почерк. Пробуду несколько дней и у сына^[4] и увижусь с тетей Карей^[5]: расскажу ей о вас, она всегда вами очень интересовалась, и притом вдвойне, и как моя невестка, и как подруга вашей мамы. Буду рад, если у вас и с ней завяжется корреспонденция, лучше всего через меня. Советовал в свое время и вашей маме возобновить с ней переписку, тем более что она (т.е. тетя Каря) сама этого желала, но она меня и в этом не послушалась. Верну ей при этом случае и сказку вашей мамы, которая мне тоже очень понравилась^[6].

Очень рад путешествию; заведет оно меня отчасти в края знакомые, но отчасти и в незнакомые, между прочим и на остров Корсику, куда меня давно уже тянет. А вы можете следить за моим путешествием? Есть у вас географический атлас или хотя бы карта Европы? Если нет, то необходимо завести — иначе вы будете чужестранками на земле. Вообще, как у вас с книгами? Напишите мне об этом; готов вам помочь и в этом (конечно, деньгами), только надо сговориться.

Одним словом, пишите и пишите, чем больше, тем лучше; меня так радуют ваши письма, я при каждом выговариваю мысленно сладкое для меня слово: «моя дочка». И вы видите, что и я вам охотно пишу; только бы знать, что вас более всего интересует в моих письмах. Но именно частая корреспонденция к этому приведет. А засим целую тебя крепко как твой любящий тебя папа.

1 февраля 1936, Варшава.

Дорогая моя Адочка. Наконец дождался письма от тебя. (...) Ты ждала сестру на праздники к себе; что же, приехала она? А если нет, то почему? И получила ли она те 30 долларов, которые я для нее послал тебе? Ты пишешь, что рассчитываешь увидеть ее и маму; как она попала к ней? Вообще, у тебя и у нее было бы о чем писать, и даже очень, если бы вы отвечали хоть на мои вопросы; я жду на них ответа и, не получая их, естественно бываю огорчен. Ведь это должно быть для вас ясно, что причиной моих вопросов является участие, которое я принимаю в вас, в вашем характере и вашей судьбе; я знаю, о чем вам можно писать и о чем нет, и таких вопросов, на какие вам было бы затруднительно отвечать, и не ставлю. (...) Далее: почему ты как раз избрала Воронежский университет? Тоже загадка, оставшаяся без разрешения. Ты знаешь, что я для вас имел в виду другое; почему это оказалось невозможным? Хотел сблизить тебя с братом^[7]; ты мне наотрез объявляешь, что ему не напишешь; согласишься, что такой прямой отказ без приведения даже причин был для меня обиден — ведь я только ваше добро имел в виду. А что из этого выйдет, я тебе скажу: выйдет то, что когда я умру, то вы об этом и не узнаете и только по долгом отсутствии писем догадаетесь, что того, который бы мог вам их написать, уже нет в живых. Это ли для вас желательно? — На все эти вопросы я поныне жду от вас ответа. (...)

Вообще, моя родная, переписка бывает тем интереснее, чем чаще переписываешься: тогда даже всякая мелочь приобретает значение. Написал вам по ряду писем о вашем раннем детстве, надеялся, что это оживит нашу переписку, что последуют вопросы, дополнения, даже возражения — что было бы вполне естественно, если бы вы о том же разговорились с вашей мамой или с кумой. Ничего не последовало; мне кажется даже, что ваши письма до того были содержательнее, и я боюсь, как бы не получилось нечто вроде отчуждения. Мои чувства к вам остались неизменными: как ваша мама была моей последней любовью, так и вы — последние по времени лучи радости в моей жизни. Если бы по какой-нибудь причине — конечно, не по моей вине — нашей переписке пришлось прекратиться, то вы все-таки должны быть убеждены, что мои последние мысли будут о вас, мысли горькие, но теплые и любовные.

(...) Теперь считай, что держу тебя за руки, всматриваюсь в твои карие глазки, крепко тебя целую и говорю на прощание: будь здорова, моя дорогая, дорогая дочка. Твой папа.

4 апреля 1936, Варшава.

Дорогая моя Адочка.

Вчера отправил тебе через наш Западный банк 100 злотых, что составит при размене на вашу валюту приблизительно столько же рублей; это — для тебя вместе с Тамарусей. (...)

О себе могу сообщить, что мне, по всей вероятности, опять предстоит путешествие, этот раз на север, в Финляндию. Приглашение туда, т.е. в Гельсингфорс, для прочтения двух лекций, состоялось уже больше года тому назад, но до сих пор не мог ему последовать. Так что теперь, помня о своем условном обещании, сначала справился, всё ли меня еще ждут; вчера как раз получил ответ: да, ждут и очень просят. (...) Если всё пойдет как следует, то мы выедем 20 апреля: на пути туда придется остановиться на один день в Дерпте, где мне тоже предстоит прочесть лекцию, потом — в Гельсингфорс, а после нескольких дней там, обратно — морем. Это последнее для меня — главная приманка; ты знаешь, что я в море влюблен.

Едем мы, конечно, не на мой счет (у меня таких денег нет), а на счет приглашающих, т. е. Гельсингфорского университета; ты понимаешь, что при этих условиях такое приглашение — не только удовольствие, но и большая честь, и надо оказаться достойным этой чести и постараться не ударить в грязь лицом. Другими словами: лекция должна быть и по содержанию интересна, и на высоте науки, и облечена в хорошую форму, и произнесена звучно и неусыпительно. Вот и вчера прочел публичную лекцию в нашем университете; продолжалась полтора часа, публики масса, успех полный. Правда, она была по-польски; в Гельсингфорсе придется читать по-немецки (финского я не знаю), но так как я этим языком владею не хуже любого немца, то это меня не смущает.

Вообще у меня теперь настроение весеннее. С 1 апреля даже возобновил свои утренние прогулки в нашем университетском саду. Встаю я для этого исправно в 6 часов утра, беру с собой яблоко и гуляю мерным шагом по дорожкам и в гору и под гору в течение часа: столько именно требуется, чтобы обойти все дорожки и тропинки. Потом — домой, за работу. В 8[?] встает дочь^[8] (ей ради ее сердца полагается дольше спать), мы вместе пьем кофе, читаем утренние газеты и рассказываем друг другу, какой кому приснился сон. После кофе опять работа этак до двенадцати с половиной, потом в город по делам или за покупками; в 2 — обед, который стряпает дочь — прислуги у нас нет, средства не позволяют. После обеда — отдых в 1 час. От 4 до 5 — в учебное время моя лекция в университете (но теперь время вакационное). После 5 иногда к нам приходят знакомые, почти исключительно из университетского

круга; тогда бывает скромное угощение. Вечером от 8 изредка театр или концерт — и то и другое у нас на высоком уровне, а мы — любители серьезной драмы и серьезной музыки. Таковыми были бы и вы, если бы мне привелось иметь влияние на ваше воспитание. Ну, а потом, конечно, спать; впрочем, когда мы вечером дома, то после ужина дочь играет на рояли, а потом мы еще проводим часок в милой болтовне. Вот тебе картина моей ежедневной жизни; не разнообразна она, но содержательна, и я не желал бы ее изменить. Крепко целую тебя. Твой папа.

23 июня 1937, Варшава.

Дорогая моя Адочка.

Пользуюсь свободным вечером, чтобы написать тебе. (...) У нас теперь каникулы, но для меня это дни самой напряженной работы. К тому же — выезды, или, вернее, вылеты. Неделю назад полетел с внучкой^[9] в Краков, на заседание тамошней Академии Наук, коей я член, как, впрочем, и полудюжины других. Дней через десять полечу в Гдыню на лекцию, но уже один. Для меня такие лёты — экономия: в Краков, например, скорым поездом ехать — часов шесть, а аэропланом — час. Сбереженное время пойдет на работу, так что расход оплачивается. Уже не говоря об удовольствии, которое громадно: летишь среди туч, над тобой — солнце и синева неба, под тобой, через дыры облаков, виднеется земля, точно географическая карта. Боялся за внучку, для которой это был первый лёт; но она жалела лишь о том, что он так скоро кончился. Да, теперь, как живем тройкой, в доме веселей, но и забот припело.

(...) Со стороны Тамаруси нехорошо, что она мне ничего не пишет, раз она поправилась, не знаю даже, где она теперь. А со стороны вас обеих нехорошо, что вы бросили переписываться с Киской^[10], которая была всегда так участлива к вам и как бы представляла у вас мою традицию. Да, *In den Ocean segelt mit tausend Masten der Jungling — Still im geretteten Kahn treibt in den Hafen der Greis...* Так как ты, по твоим словам, слегка маракуешь по-немецки, то вот тебе это двустиише Шиллера (это — самостоятельная эпиграмма наряду с другими, столь же хорошими). Прилагаю и портрет этого *Jungling*, по твоему желанию, приблизительно в том возрасте, в котором он стал вашим отцом^[11]. Вид довольно внушительный, как ты думаешь? Это тогда многие находили.

Ну, всякому овощу свое время, и жаловаться и теперь было бы грешно. Главное, что работать могу. А приходится: пенсии не хватает, необходимо зарабатывать литературным трудом и лекциями. И то и другое интересно. Кстати, ты спрашивала меня, сколькими языками я владею. Это зависит от того, что понимать

под словом «владеть». Когда я бывал в Испании и Греции, то довольно свободно говорил на соответствующих языках, по-испански даже на банкете речь произнес; если считать также и эти два языка, то в общей сложности получится десять. Но вне этих атмосфер язык заплетается.

(...) Весь июль думаю провести здесь, но на август и часть сентября поеду за границу работать в тамошних библиотеках. Там мне пригодится то, что я, как сказано выше, состою членом ряда академий: и почет, и облегчение по части получения книг на дом. А для меня это необходимо уже потому, что только дома я могу пользоваться своей пишущей машинкой: в библиотечных залах ее стук мешал бы другим работать. Теперь кончаю «Римскую империю», выйдет солидный том; после него примусь за историю античных религий, коей еще недостает двух томов. Двух томов! Легко сказать. Как их напишешь, когда тебе стукнуло уже 78 лет? Ну, как, этого не знаю, а стараться надо.

Помогите мне в этом и вы, поддерживая во мне бодрое настроение и уверенность, что в моей уютной лодочке по-прежнему сидят милые фигурки моих молодых дочек. Теперь еще одна внучка^[12] прибавилась; пишите и о ней, и вообще о всех, кого я знаю и люблю, и кого полюбил бы, если бы знал. И не дайте в вашем собственном сердце угаснуть любви. «Любовь нужно холить» — не знаю уж, где я прочитал этот мудрый совет, а мудр он действительно. «Коли сердце опустеет, уж не наполнится вновь» — это опять из немецкого поэта, только другого («ist das Herz geleert, wird's nicht mehr voll»). А жить с пустым сердцем — поверьте, дорогие мои, не легко.

Ну вот вам и нравоучение на память; авось не пригодится. Как видишь, переписка наладилась, не дайте ей остыть. Крепко вас всех целую. Твой папа.

Вопреки надеждам отца, это письмо оказалось последним. Когда Ариадна училась на третьем курсе Воронежского университета, ее неожиданно вызвали в НКВД и потребовали прекратить переписку. Оказалось, что соседка по студенческому общежитию выкрала одно из писем Зелинского и как «преданный советской власти человек» состряпала донос. «Это был жуткий 1937 год, — вспоминает Ариадна Фаддеевна. — По всей стране шли массовые аресты ни в чем не повинных людей, большинство их исчезало навсегда. Мучительна была мысль о том, как будет страдать отец, не получая от меня вестей и не зная причины моего молчания. Но выхода не было. Я решила временно прекратить переписку». Окончив университет в 1940 г. (это было уже в Ростове-на-Дону), она написала отцу на

прежний варшавский адрес. Но к тому времени ни адреса, ни адресата там уже не было. Сбылось горькое пророчество Фаддея Францевича: «Когда я умру, то вы об этом и не узнаете...».

Лишь в 1958 г., в период некоторой либерализации советского режима, дочери узнали о судьбе отца. Ариадна послала запрос в Варшавский университет и получила ответ от его ученицы — профессора Лидии Винничук. Благодаря этой доброй женщине удалось восстановить связь с братом Феликсом и сестрой Аматой.

«Тетя Каря» в письме от 26 сентября 1958 г. рассказала о последних годах жизни Ф.Ф.Зелинского:

«Дорогая Ариадна! Мне переслали твое письмо, которое ты написала в надежде найти следы твоего отца. Он умер 8 мая 1944 года, ему было 84 года... Последние годы своей жизни он провел здесь. Он прибыл сюда в ноябре 1939 г. после первого разгрома Варшавы вместе со своей дочерью Вероникой, его верной спутницей. Она всегда трогательно заботилась о нем и всюду его сопровождала... После взятия Варшавы они оба провели очень тяжелое время. Их квартира сгорела, как почти весь Варшавский университет, и в связи с этими потрясениями его постиг удар, так что он едва мог передвигаться, а Вероника уже давно страдала болезнью сердца. К счастью, удалось получить, благодаря нашему содействию, разрешение приехать к нам и нам удалось их сравнительно хорошо устроить. Он был рад быть с нами, но очень страдал от тяжелой судьбы, постигшей его родину. После удара он сравнительно оправился, мог ходить, хотя и с трудом. Духовные его способности не пострадали. Он в совершенстве владел многими европейскими языками, знал наизусть великие произведения мировой литературы и незадолго до своей смерти закончил шеститомный труд своей истории религии... Рукопись 5 го тома сгорела в Варшаве, он ее написал заново и закончил свой труд незадолго до смерти 6 м томом».

Последующая долгая жизнь Софьи Петровны и ее дочерей была насыщена множеством драматических событий. Но всё это лежит за пределами темы данной публикации. Поэтому ограничимся лишь краткими сведениями. В годы войны Ариадна вынужденно осталась в оккупированном Ростове. В период оккупации она потеряла полуторалетнюю дочь Танечку. Софья Петровна с Тамарой и двумя малолетними внуками Лидией и Еленой тоже оказались на территории, захваченной гитлеровцами, в Воронежской области. Все выжили чудом. В 1944 г. Ариадна сумела организовать переезд матери и сестры с детьми в Ростов-на-Дону, где и прошла вся их дальнейшая жизнь. Софья Петровна до выхода на пенсию в 1959 г.

преподавала немецкий язык в Ростовском университете, скончалась в 1978 году. Тамара Фаддеевна работала учительницей в средней школе, родила сына Петра. Умерла в 2005 году. У нее осталось два внука и четыре внучки, а также правнуки. Ариадна Фаддеевна стала кандидатом биологических наук. Выйдя на пенсию, написала воспоминания «Дни моей жизни». У нее двое детей — автор этих строк и дочь Лариса, а также двое внуков.

Заканчивает свои воспоминания младшая дочь Ф.Ф.Зелинского словами памяти об отце: «Уже нет в живых тех дорогих близких, с кем я была вынуждена прервать связь в годы советской власти, а у меня на всю жизнь осталась жгучая тоска о несбывшейся встрече с отцом и братом, и с годами эта боль не смягчается, а становится всё сильнее».

-
1. Затуленье — поселок в Лужском районе нынешней Ленинградской области.
 2. В желании отца, чтобы дочь получала образование в столице, просматривается его удаленность от обстоятельств жизни в советской стране. Дочери живут в постоянном страхе из-за своей переписки с заграницей. Окончив два курса техникума, Ариадна поступила в Воронежский университет на биологический факультет. Отец мечтал, чтобы она получила высшее образование в Петербурге (тогда Ленинград), но мать считала, что в их положении лучше оставаться в провинции. Это решение осталось не понятым Зелинским.
 3. Очень мне дорогая особа — имеется в виду старшая дочь Зелинского Амата (в замужестве Людмила Бенешевич, 1888—1967).
 4. Сын — Феликс Зелинский (1886—1970), у которого отец регулярно гостил в Шондорфе (Бавария).
 5. Тетя Каря — Карин Эдмундовна Зелинская, урожденная Борман (1892—1964), жена Феликса, подруга юности Софьи Петровны, ее ровесницы.
 6. ...сказку вашей мамы... — рукопись, о которой идет речь, не сохранилась.
 7. Феликсом.
 8. Вероника (1892—1942).
 9. В это время у Фаддея Францевича и Вероники гостила Айя (род. в 1917), дочь Корнелии (Нелли), второй дочери

Зелинского (1890-?), вышедшей замуж за японца и жившей в Японии.

10. Киска — семейное прозвище крестной матери Тамары.
11. См. фото 1.
12. 15 февраля 1937 г. у Тамары родилась первая дочь — Лидия (ум. в 1998).

СТИХОТВОРЕНИЯ

Прыжок с шестом

Толчок, и он поплыл. Божественным усилием
Взвился над планкою. Благодаря ли крыльям?
Кошачьей легкости дъ? Как будто он без плоти —
Так трепыхается, вращается в полете.
Остановите же! Пускай замрет в просторе.
Пускай отбросит шест — какая цель в опоре?
Он, со стхией воздушною знакомый,
Пушинкой сделался и дымкой невесомой.
Он нас не слушает: в немыслимом порыве,
В своем парении становится счастливей.
Оцепенели мы в смятении великом,
Стал нашим вздохом он, стал нашим эхом, бликом...

1925

Черный полонез

Цыганиха, руки в пятнах,
Черной шуткой их опутай,
Мы станцуем, погадаем,
Похохочем, порыдаем
В пляске лютой.
Эх, разбойничья недоля,
Дай цынгу нам, дай чахотку,
Лихо вышло в паре с горем,

Мы танцуем, мы им вторим,
Смех в охотку.
Обещали, да не дали,
Только скрипнули полозья.
Кто ж поверит барской ласке?
Покатили в карнавале,
Кнут защелкал на морозе.
Тускло в окнах,
Смрадно в хатах,
Не умчаться нам галопом.
Угостили нас войною
И велели быть в солдатах.
Навсегда ли
Нас погнали
Скопом, скопом?
Все мы
Из простого люда,
Кровь играет,
Пляшем люто,
В жилах злоба, пот в ладонях.
Убыль — прибыль.
Мы на клячах, те — на конях,
Гибель, гибель.
1968
Тувим
Речь наша польская, полевая

Тепла от медвяного сока,
и Тувим плещется, выплывая
Из родника, из словоистока.
Светла вода ключевая речи
И щедро пригоршнями хлещет,
Целует уста, ласкает плечи
и на ресницах слезой трепещет.
Строки нашептанные летучи,
Они в немислимом переливе
Все звончее, опасней, жутче,
И рана становится счастливей.
Едут красавицы, мчатся кони
В знойные сны, к задремавшим пущам,
Земля утонула в блеске, в стоне,
В движении этом всемогущем.
А он все звенит, звенит в потоке —
Родник и зачаток и условие,
берег бежит за ним далекий,
И зыблется камыши в низовье.

1955

Ты, что остался без отчизны...
Ты, что остался без отчизны,
Приди ко мне, давай тужить,
Капризны мы иль не капризны,
Без родины мы будем жить.
Гляди же на небо с тоскою,

Туда, где сполохи в ночи
Бушуют огненной рекою.
Присядь ко мне и помолчи.
Не снилось ли тебе, что кости
По пустошам разносят псы,
Березы плачут на погосте?
Будь рядом в горькие часы.
Ты слышишь, что какой-то странный
Сочится ропот сквозь дожди,
Сквозь гущи веток и бурьяны
И оседает он в груди.
Нет выбора нам в целом мире,
На родину обречены.
Из всех богатств — стены четыре,
Из голосов — зов той страны.

1942

Сундук

Марии Домбровской

Мое возвращенье на чердаке,
Спит там сундук, обитый жестью.
Это о родине мечта,
Там все скитания мои,
Там визы и паспорта.
Сундук мой, сокровище мое,
Храню, как зеницу ока,
Мое нерасчетливое житье,

Конец судьбы жестокой.
Сундук для состарившихся детей,
Глупеющих с каждым годом.
Там вороха ненужных вещей,
Одиночество диких дней
С их ностальгическим хороводом.
Мне горько, мне стыдно, я вою, как пес,
Тоскую так по Карпатам.
Сундук мой, с тобой я поездил всерьез,
Вез из Европы,
Из Америки нес
По трапам, по трапам.
Болят мои стопы,
Отчизна.
Таков мой багаж, другого не дашь,
И расписание не ново.
Настежь распахнут мир,
А выхода никакого.
Намертво держит капкан.
С чем и куда устремиться?
Чердак — возвращение мое.
Любовь и гибель взаимны.
Любовь не убить мне,
Ее не спасти мне.

ЗАПИСКИ ПОЭТА

Иногда у меня возникает иллюзия, что я жил несколько раз, что жизнь моя состоит из нескольких существований, что каждое из них было иным и что неизвестно, как они все объединились в непрерывную цепочку моих 70 лет. Некоторые периоды представляются мне слегка мифическими и неправдоподобными. Возвращаясь к ним мыслью, я мог бы говорить о себе как о ком-то далёком и не очень-то мне знакомом. Смотрю на жизненный путь этого малознакомого мне человека словно чужими, а иногда и удивленными глазами. Некоторые интервалы между этими периодами приобретают вид пропастей, которых никаким мостом не соединить. Тогда я ощущаю зыбкую почву под ногами, а феномен бытия никогда меня не поражает больше, чем в такие моменты.

(...)

В апреле 1915 г. меня отправили на австрийский фронт. Я пробыл на фронте четыре месяца, постоянно в боях, во время так называемого наступления Маккензена. 7 июля, то есть седьмого месяца года, на седьмой день сражения за Красник, в семь часов вечера я попал в русский плен как офицер 77 полка австрийской пехоты. Этими семерками завершилось моё активное участие в войне.

В плену я пробыл два с половиной года. Лагерь наш находился в Рязани, губернском городе. Нас разместили в просторном деревянном доме, в котором прежде располагалась унтер-офицерская учебная команда. Перед домом был плац для упражнений, за зданием — сад, всё было обнесено высоким забором. Мы жили отрезанными от мира, но имели право на так называемую «прогулку» два раза в неделю под надзором конвойного солдата. Кроме того, нам разрешалось бывать по воскресеньям на мессе в маленьком костеле, разумеется, тоже под конвоем. Рязань, некрасивый и бесцветный город, расположена на берегу Оки. В то время она славилась тремя вещами: чудотворной иконой Матери Божией, разливами Оки и голодом, который царил в тех местах в годы наводнений. Так что не о чем было жалеть. Но нам докучала скука от замкнутости и монотонная жизнь без событий. В то время — а времени этого было действительно очень много — я вернулся к страсти университетских лет и начал писать стихи.

(...)

Отдельным приключением в моей жизни стало знакомство с русским языком. Сегодня мне хочется об этом рассказать.

В 1915 г., когда я попал в русский плен, мы прошагали — а было нас около двухсот офицеров — из-под Красника до Демблина, а потом и до Лукова. Оттуда нам предстояло отправиться по железной дороге вглубь России. Мы долго ждали на станции, пока подали поезд. Так же долго и безуспешно я пытался прочесть надпись кириллицей на вокзальной стене. В названии «Луков» было не пять букв, а шесть: оно заканчивалось твёрдым знаком, который сегодня в русской орфографии отсутствует. Кроме того, буквы по форме отличались от букв латинского алфавита. Одним словом, ни в зуб ногой.

Три месяца спустя я прочитал «Воскресение» Толстого, мою первую книгу по-русски. Столько времени мне понадобилось, чтобы овладеть этим прекрасным и совсем мне в то время неизвестным языком. Я начал его учить немедленно по приезде в лагерь военнопленных в Рязани, но помочь мне было совершенно некому. Поначалу нас разместили в небольшом доме, в центре города, напротив Мариинской гимназии. Окна наши были до середины забелены известью. Это не мешало нам смотреть на мир через верхнюю половину. Вид, который перед нами открывался, был привлекательным, но недоброжелательным. К окнам напротив подбегали гимназистки и показывали нам язык. О разговорах, то есть упражнениях в разговорной речи, не приходилось и мечтать. Мы разговаривали только с охраной, выделенной для нашего лагеря. А еще читали убогую местную газету «Рязанское слово», где прежде всего искали сообщения с фронта. Это было мое первое чтение на русском языке. Вторым был маленький словарь, который я зубрил от скуки слово за словом и страница за страницей. Потом я достал самоучитель русского языка и одолел этот курс молниеносно.

Барышни показывали нам язык недолго: из города нас перевели в предместье, в здание бывшей унтер-офицерской учебной команды. Там нам стало чуть полегче. Правда, мы были отгорожены от мира высоким забором, но мир за этим забором оказался более доброжелательным, чем тот, что был за забеленными окнами. В щели мы увидели прекрасных дам, гулявших в садах, окружавших наш лагерный сад, и этого было достаточно, чтобы вызвать наш восторг. Вскоре мы обнаружили, что кое-где доски в заборе можно раскатать и даже отодвинуть. Это стало великим открытием и вселяло в нас прекрасные, хотя и неопределенные надежды. Вдоль забора

через весь сад шла тропинка, в конце которой стоял охранник, следивший за нашими прогулками. Достаточно было отскочить в сторону в момент его мимолетного невнимания, чтобы оказаться у забора. Впрочем, не всякий охранник был грозным Цербером. Со временем возле раздвигавшихся досок начались наши уроки разговорного русского языка.

Я вел разговоры с прелестной двадцатилетней особой, студенткой Московского университета, изучавшей русскую литературу. Мы познакомились сами, нас никто друг другу не представлял, и знакомство наше продолжалось два с половиной года, то есть весь период моего плена. Зимой мы писали друг другу письма, роль почтальона исполнял один из конвойных, услуги которого оплачивались с обеих сторон забора. Я получал от своей знакомой книги и журналы, и она же была моим первым чичероне по русской литературе.

Верховную власть над лагерем долгое время отправлял старый майор, злой и тупой служака, уход которого мы восприняли с радостью. После него был молодой прапорщик, бывший когда-то студентом Сорбонны, Трунин. С нашей стороны самым старшим был капитан Хорица, австрийский пенсионер, взятый в плен в первый или во второй день войны, когда он ловил рыбу в Збруче. Он не мог выучить русский язык и для переговоров с властями ему требовался переводчик — на эту роль он выбрал меня. Благодаря этому я часто виделся с Труниным, который оказался большим любителем и прекрасным знатоком литературы. И он стал моим вторым проводником по литературе.

Русская поэзия меня очаровала. Самым близким мне поэтом оказался Александр Блок. В Рязани я не мог достать сборник его произведений и попросил об этом представителя Шведского Красного Креста, который посетил наш лагерь и спрашивал, кому что нужно. Я забыл об этой просьбе и, когда по прошествии времени мои товарищи получили пледы, обувь, белье и тому подобное, я был удивлен, что мне вручили небольшой пакет. В нем я обнаружил три тома «Собрания сочинений» Блока. Скромность моя была неожиданно вознаграждена. Какая-то добрая шведская душа прислала мне еще теплое пальто, в котором мне суждено было потом добраться до Варшавы.

Блок ослепил меня сильнее, чем Бальмонт, Брюсов и Белый, а из более молодых — Маяковский и Пастернак. Он казался мне открытой артерией России. Из него била горячая кровь бескрайней эмоциональности, предельная сила чувств. За строфой с конкретной, реалистической картиной следовала

иная, словно подсеченная воодушевлением или отчаянием, и тогда прежняя реальность рассеивалась, а всё стихотворение возносилось ввысь и летело, неуловимое, как перо высоко парящей птицы. Эта смесь реальности и визионерства, конкретности и мистицизма оказывала на меня магическое воздействие. Меня также восхищал пейзаж Блока, его березы, метели и степные ветры, которыми полон был край, описываемый им с такой любовью. Я учил его стихи наизусть, некоторые из них перевел на польский, в том числе «Незнакомку», «Клеопатру», «Венецию».

(...)

Вот так в четырех стенах нашего лагеря военнопленных в Рязани бурлили во мне взаимоисключающие противоположности. Не помню, как долго это продолжалось, вскоре, однако, в этом споре верх взяла радость от того, что я уцелел и жив.

Казимеж Вежинский, *Записки поэта*. Варшава: «Официна выдавнича», 1990. На польск. Яз.

КАЗИМЕЖ ВЕЖИНСКИЙ

Юношескую безмятежность «Скамандра», быть может, лучше всех воплотил Казимеж Вежинский. Сын железнодорожного служащего с юга Польши, он учился в университетах Кракова и Вены, дебютировал в литературе в 1913 г., во время I Мировой войны сражался в легионах Пилсудского, а затем был призван в австрийскую армию и попал в плен к русским. В России он провел три года. В кафе «Под Пикадором» и в журнале «Скамандр» он покорял публику стихами, которые были вспышкой чистой радости («В голове моей зелено и фиалки цветут»). Названия первых его сборников дают представление о темах, которые он затрагивал в своём творчестве: «Весна и вино» (1919), «Воробьи на крыше» (1921), «Записки о любви» (1925). Крепкий юноша, хорошо сложенный и красивый, он был одним из немногих европейских поэтов, писавших оды на спортивные темы. Его сборник «Олимпийский лавр» (1927), содержащий такие стихотворения, как «100 метров», «Прыжок с шестом», «Дискобол», удостоился первой премии на литературном конкурсе во время IX Олимпийских игр в Амстердаме.

Около 1930 г. у него начал проявляться возрастающий интерес к общественным вопросам, а нервная риторика его стихов демонстрировала возврат к польскому романтическому наследию. Новая нота горечи в его сборниках была знаком писателя, который больше всех остальных скамандритов сохранял юношескую преданность Пилсудскому. Тут тоже названия красноречивые: «Фанатические песни» (1929), «Горький урожай» (1933), «Трагическая свобода» (1936). После начала войны он сначала эмигрировал во Францию, затем через Португалию и Бразилию — в США, где и осел. Его поэзия военных лет еще сильнее свидетельствует о возвращении к патриотическим традициям романтиков.

Написанная прозой «Жизнь Шопена», изданная в Нью-Йорке в 1949 г., стала в Америке бестселлером. Находясь в трудном положении поэта в изгнании, лишённый публики, с которой он мог говорить на родном языке, Вежинский, казалось, черпал силы в очень личном контакте с природой американского Восточного побережья. В возрасте под шестьдесят он пережил возрождение творческих сил, и его поздние, короткие стихи относятся к самым лучшим. В них он несколько расслабился,

отказавшись от навязанной самому себе дисциплины традиционного метра. На протяжении всей своей карьеры он оставался верен образу поэта как человека, пишущего под диктовку демона. В одном из поздних своих стихотворений, «Слово к орфеистам», он хорошо это описал:

Не знаю, кто стоит за мной, но знаю, что стоит он,

Что говорит, не знаю, но за ним я повторяю,

И я не слышу этих слов, но написать умею,

Так важно это, потому не задаю вопросов.

Из книги «История польской литературы». Краков: «Знак», 1995.

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Прошедшая в нынешнем году 54-я Международная книжная ярмарка в Варшаве ознаменовалась рекордом посещения — 51 652. Столько было продано билетов, а кроме того, было выдано 9 тысяч бесплатных аккредитаций для журналистов и работников библиотек. В последний день работы ярмарки перед Дворцом культуры выстроилась гигантская очередь. За два часа до закрытия организаторы решили пропускать всех желающих без билетов.

Один из участников выставки, глядя на извивающуюся очередь к кассе и штурм стендов издательств, заметил, словно между делом: «Если так выглядит отсутствие интереса к книгам, то я ничего не понимаю». Год назад посетителей было только 45 тысяч.

В нынешнем году в ярмарке участвовало около 500 издательств из 31 страны. Почетным гостем мероприятия был Совет Европы.

Как всегда, магнитом, притягивавшим посетителей, были подписывающие свои книги авторы. Среди них Эльжбета Дзиковская, Катажина Грохоля, Магдалена Дыгат и Анджей Дудинский, Ханна Краль, Казимеж Куц, Ярослав Марек Рымкевич, Ежи Штур, Малгожата Шейнерт, Ежи Помяновский, Анджей Вайда и Януш Л. Вишневский, а из зарубежных — итальянец из Триеста Клаудио Магрис. Автор «Дуная» подписывал три недавно переведенные на польский язык книги: сборники очерков «Итака и дальше» и «Размышления на тему одной сабли» (издательство «Пограничье»), а также путевые эссе «Путешествие без конца» («Зешиты дитерацке»).

По традиции в ходе ярмарки был представлен список из 20 книг, выдвинутых на премию «Нике». На эту по-прежнему самую престижную польскую литературную премию претендуют, в частности, Анджей Барт и его роман «Фабрика мухоловок» (WAB), Сильвия Хутник с ее «Карманным атласом женщин» («ha! art»), Дорота Масловская с книгой «Между нами все хорошо» («Лампа и Искра Божья»), Божена Кефф с жанрово трудно определимым «Произведением о матери и родине» («ha! art»), а также Ежи Пильх и его повесть «Марш Полония» («Свят Ксёнжки»).

В списке номинантов, как отмечает комментатор бюллетеня «Арс Полонии», четверо выдвинуты вроцлавским «Бюро литерацким», стремящимся издавать амбициозную литературу вне «мейнстрима», выдвигать молодых, достойных писателей, у которых нет шансов в больших издательствах. Номинации нынешнего года — это преимущественно молодая литература, беллетризованная проза, часто авангардные произведения. Стоит отметить определенное преобладание феминистских позиций.

В конце мая в Павлове возле Рейовца-Фабричного прошел II Слет любителей творчества Рышарда Капустинского «Капуманы». Первый состоялся в прошлом году, а Павлов был избран потому, что именно здесь семилетний Рышард провел с матерью последние каникулы перед началом войны. Отсюда они бежали в родной Пинск, отсюда началось его странствование по миру.

А Капустинский всё пишет... В издательстве «Читательник» вышел его том «О книгах, людях и искусстве», куда собраны тексты последних тридцати лет, опубликованные в массовой прессе и литературной периодике. В него вошли также вступления или послесловия к книгам других авторов и внутренние рецензии для издательств.

Капустинский обращает читательское внимание на репортажи авторов молодого поколения и зарубежные публикации, пишет о мастерах репортажа, переводчиках, фотографах и художниках, в том числе о друзьях. В книге мы найдем тексты о Мариане Брандысе, Леопольде Унгере, Стефане Братковском, Казимеже Дзевановском. Писатель прощается с ушедшими: Агнешкой Осецкой, Иреной Шиманской, Ежи Гедройцем, Болеславом Вежбянским. Всего в книге сто текстов, небольших и покрупнее.

— Восемнадцать из них никогда не публиковались, а десять — только в зарубежной прессе, — сказала во время представления книги в «Читательнике» редактор тома Божена Дудко. — Это также прекрасная возможность проследить, как в течение времени эволюционировали взгляды Капустинского на искусство репортажа, потому что именно искусству репортажа посвящено тридцать из собранных в томе текстов.

Капустинский внимательно следил за событиями в России и бывших советских республиках. В его сборнике нашлось место для разговора о «Пандрёшке» Кристины Курчаб-Редлих, «Переулках маэстро Воланда» Гжегожа Пшебинды, «Планете Кавказ» Войцеха Гурецкого.

А в издательстве «Знак» вышла вторая часть «Путешествий с Рышардом Капустинским» с рассказами четырнадцати его переводчиков. Своими воспоминаниями об авторе «Цезаря» делятся, в частности, Любица Росич и Бисерка Райчич из Белграда, директор Института Сервантеса в Кракове Абель Мурсия Сориано, профессор Сильвано де Фанти из Удине. Печатаются также воспоминания лауреата премии «Трансатлантик» Ксении Старосельской из Москвы, озаглавленные «Писатель и его переводчик». Старосельская рассказывает не только о Капустинском, но также о выдающемся, уже умершем переводчике его книг Сергее Ларине.

Особого внимания заслуживает фрагмент, связанный с книгой, которой очень долго не было в России: «Вот и пришла очередь «Империи» (если ничего не случится, то, когда мой текст увидит польский читатель, книга будет уже издана), — пишет Старосельская. — Как я уже писала, как раз заканчиваю ее перевод. И когда вчитываюсь в слова Капустинского, когда преобразую их в русские, я вижу перед своими глазами Рышарда таким, каким его помню — и не забуду».

В четвертый раз состоялось присуждение литературной премии «Гдыня». Жюри работало под руководством профессора Петра Сливинского, который, оглашая решение, сказал: «Мы награждаем книги, а не политические взгляды, моральный облик, заслуги или мировоззрение. Наша отчизна — литература, и именно она номинируется и награждается».

В номинации «Проза» премию получил Мартин Светлицкий за детектив «Одиннадцать» (краковское издательство EMG). Лауреатом в категории «Поэзия» стал (уже второй раз в истории премии) Эугениуш Ткачишин-Дыцкий со стихотворным сборником «Песня об условиях и обусловленностях», изданный «Бюро литерацким». Мария Попшенцкая за книгу об искусстве «Другие картины. Глаз, взгляд, искусство. От Альберти до Дюшана», вышедшую в гданьском издательстве «слово/образ/территория», отмечена премией в категории «Эссеистика».

Лауреаты получили по статуэтке в форме кубика и по 50 тысяч злотых.

Яцек Дукай стал польским лауреатом Европейской литературной премии за 2009 год. Жюри конкурса «Литературная премия Евросоюза» присудило ее за книгу «Лёд» («Выдавництво литерацке»).

— «Лёд» Яцека Дукая — это роман из сферы альтернативной истории, импонирующий не только объемом и запутанной фабулой, но прежде всего замыслом и проблематикой. Действие разворачивается в двадцатые годы XX века, сначала в Польше, а затем в Сибири. В результате оледенения этой части Европы и Азии «замороженной» оказалась история (не случилось ни мировой войны, ни революции, а в России по-прежнему правит царь). Зато перед закованной морозом Сибирью открываются захватывающие технологические и экономические перспективы благодаря возникшим в краю вечной зимы новым видам сырья. Это вызывает острый политический конфликт и борьбу за власть, во что включается герой романа, молодой поляк, отправляющийся в Сибирь с тайной миссией. Это многоплановый, прекрасно написанный «сенсационный роман», но одновременно книга содержит чрезвычайно интересные размышления на тему религиозности и мистики, возникающих в мире холода, воздействия на мир систем логики (мир холода управляется двухмерной логикой, а остальной мир открывает для себя многомерную логику), а в результате создается картина фантастической альтернативной технологии, мастером которой становится Никола Тесла — знаменитый изобретатель, сопровождающий героя в поездке по Сибири. Используя знания и идеи из разных сфер, Дукай создал чрезвычайно многообразную панораму мира, но одновременно его роман остается «книгой для чтения», привлекающей внимание читателя хитросплетением событий и напряжением страстей, — отмечается в решении жюри под председательством профессора Ежи Яжембского.

Леопольд Унгер стал лауреатом премии имени Ксаверия и Мечислава Прушинских за 2009 год. Премия присуждается польским ПЕН-клубом. Унгер — журналист, публицист, политический обозреватель. После марта 1968 г., как большинство польских евреев, был вынужден эмигрировать и поселился в Бельгии. Он постоянно живет в Брюсселе, активно печатается в «Газете выборчей». Он был одним из активнейших авторов парижской «Культуры» (с 1970 г. вел рубрику «Взгляд из Брюсселя», подписываясь «Брюсселец») и комментатором радио «Свободная Европа». Регулярно печатался также в бельгийской прессе («Суар»), а также в «Интернейшнэл геральд трибюн». Премия имени братьев Прушинских присуждается за литературный репортаж, прозу и эссеистику. Лауреатами прошлых лет были, в частности, Рышард Капустинский, Яцек Жаковский, Ханна Краль и Тереза Торанская.

Главную премию 19-го Международного фестиваля «Контакт» в Торунь (фестиваль проводится в последнюю неделю мая и представляет наиболее интересные театральные события стран Центральной и Восточной Европы в противовес театрам Западной Европы) получил спектакль Театра Польского из Вроцлава «Дело Дантона». Пьесу Станислава Пшибышевского поставил Ян Клята, который отмечен также премией за режиссуру. Вторая премия присуждена берлинскому «Фольксбюне на площади Розы Люксембург» за спектакль «Дроздофила» в режиссуре Кристофа Мартхалера. Третью премию получил Народный театр из Будапешта, который привез в Торунь инсценировку романа «Лёд» Владимира Сорокина в режиссуре Корнеля Мундруцо. Россию представлял московский театр «Практика», который показал «Капитал» Владимира Сорокина в постановке Эдуарда Боякова, а также «Этот ребенок» (автор пьесы и режиссер Жоэль Помра). Премий не получил.

«Премьера в Варшавской камерной опере напомнила, как много прекрасной польской музыки погибло во время второй мировой войны» — так написал Яцек Марчинский, рецензируя «Matrimonio con variazioni» («Брак с вариациями»), комедию-шутку на границе театра и кабаре, украшенную авангардной музыкой. Композитор — первый польский додекафонист Юзеф Кофлер (1896-1944) — музыкант из польско-еврейской семьи, жившей во Львове. Он погиб во время оккупации — по-видимому, в Кросно, вскоре после ликвидации гетто в Величке.

Часть его композиции — додекафонический балет-оратория «Alles durch M.O.W.», соч. 15, написанный в 1932 г., — удалось обнаружить в 90-е годы в берлинском архиве. Нотный текст был неполон, в виде клавира, с немецким либретто. Новый польский текст написала по заказу Камерной оперы Иоанна Кульмова, дав произведению его нынешнее название. Купюры в партитуре восполнил Эдвард Паллаш. Оба прекрасно справились с работой, заверяет рецензент «Жечьпосполитой».

На экраны вышла «Польско-русская война» Ксаверия Журавского по нашумевшему роману Дороты Масловской.

Масловская (род. 1983) написала «Польско-русскую войну под бело-красным флагом» в возрасте 19 лет; книгу называют «первым польским „кислотным“ романом». Книга выпускницы средней школы из Вейхерова вышла в 2002 г. в издательстве «Лампа и Искра Божья» и стала бестселлером; выдвигалась на литературную премию «Нике», переведена на многие языки, в том числе на русский. Ксаверий Жулавский (род. 1971), сын режиссера Анджея Жулавского и актрисы

Малгожаты Браунек, снял уже фильм «Хаос», получивший главную премию фестиваля «Молодежь и фильм» в Кошалине за лучший польский дебют в художественном кино.

Среди исполнителей «Польско-русской войны» оказались, в частности, иконы молодого польского кино Борис Шиц и Соня Бохосевич, Рома Гонсёровская, а также сама Дорота Масловская. В анонсе фильма пишется, что это «бескомпромиссный рассказ о молодых людях, изголодавшихся по эмоциям и переживаниям, о силе чувств, которые заставляют нас хотеть попробовать в жизни все».

— «Криминальное чтение» по-польски? — задает вопрос рецензент «Газеты выборчей» Тадеуш Соболевский. И так отвечает на этот вопрос: — Чтобы достичь эффекта комикса, Жулавский не должен был обращаться к Тарантино. В польской литературе и кино существует течение тотальной пародии, всеобщего передразнивания. Независимо от строя, коммунистического или капиталистического, время от времени поляка охватывает чувство нереальности мира, в котором он живет, ощущение искусственности языка. Именно такой, картонный, обесцененный, ущербный мир показывал когда-то Петр Шулькин в «Големе». А Марек Котерский в «Сумасшедшем доме» и «Дне маньяка» показал, что это не мы говорим языком, а язык говорит нами — болтливый, агрессивный, но притом не уверенный в себе. Когда-то казалось, что это вина «того» строя, теперь же видно, что это черта глобальной цивилизации.

Фильм, в общем-то, не вызвал энтузиазма у критики. Довольно привести названия рецензий: «Суета без живости», «Снова много хаоса из ничего», «Мир, смеха достойный», «Тряпье с надписью „Польша“».

Социолог Мирослав Пенчак на страницах «Политики» пробует объяснить, что же все-таки стоит за «польско-русской войной» у Масловской и Жулавского:

— Как в книге, так и в фильме заглавная метафора «войны» отсылает не к политике, а к психике. Отчасти также к культуре. Конечно, мифические «русские» в определенном смысле реальны, как реальны прибывающие с востока торговцы, сезонные рабочие или бандиты. За ними тянется исторический шлейф из советского прошлого, но об этом почти совсем не говорится. Зато говорят о контрабандных и контрафактных товарах — фальсифицированных сигаретах или низкосортном сайдинге. «Русские» — это прежде всего метафора халтуры, низкосортности и мошенничества. Но когда Дорота Масловская

писала свою книгу, у стильной молодежи были уже иные коннотации с понятием «русские». Прежде всего ассоциации с мафией, и эта русская мафия в начале нынешнего десятилетия стала даже темой польских сенсационных телесериалов. Чувство культурного превосходства по отношению к «русскому», пожалуй что повсеместное во времена ПНР, было отчасти нейтрализовано: мафиозо с востока уже не был смешным, убогим и «коммуноидным», а стал устрашающим и богатым, что нашим мажорам должно было импонировать.

Прощания. 26 мая 2009 г. в Варшаве в возрасте 72 лет умер Марек Вальчевский, выдающийся актер театра и кино. Его считали наиболее демоничным среди наших артистов. Ему доставались сложные роли умных и коварных злодеев, а также изломанных неврастеников. Он создал прекрасные образы — например, в поставленных Ежи Яроцким спектаклях («Мать» и «Сапожники» Виткация, «Генрих IV» Шекспира, «Закат» Бабеля, «Три сестры» Чехова), играл также у Свинарского, Гжегожевского, Холоубека и Люпы. Широкой публике был известен по многим ролям в кино. Он сыграл, в частности, Хозяина в «Свадьбе» и необычную эпизодическую роль Бум-Бума в «Земле обетованной» Анджея Вайды. Сам он считал своими главными достижениями роли в «Смерти президента» Ежи Кавалеровича (он сыграл убийцу президента Нарutowича — националиста Элигиуша Невядомского) и в «Големе» Петра Шулькина. «Невядомский — это самый трагический персонаж, которого мне пришлось играть, — говорил актер. — Эта роль и роль Голема вошли в меня, в мою психику».

В последний раз артист появился на экране в 2004 году в фильме Малгожаты Шумовской «Оно», где сыграл роль страдающего болезнью Альцгеймера отца главной героини. Сам актер разделил эту печальную судьбу.

ВИТОЛЬД ЛЮТОСЛАВСКИЙ — ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МУЗЫКИ

«Mille chevaux hors de haleine /

mille chevaux noirs portent ma peine»

Jean-Francois Chabrun^[1]

В самых убедительных ответах на вопрос о сущности шедевра указываются две его черты. С формальной стороны показатель истинного произведения искусства — это некий общий знаменатель, который проявляется в разных его элементах; тогда это произведение представляется нам картиной мира гармонии и порядка, причем, описывая такой мир, оно создает его либо свидетельствует о нем. Так, как это обстоит у великих мастеров нидерландской полифонии: Йоханнеса Окегема или Жоскена Дебре, — которых титулуют князьями музыки за их умение вести контрапункт в согласии с математической дисциплиной и в согласии с канонами ренессансной красоты. Со стороны духовной или эмоциональной подлинное произведение искусства помогает жить, приучая к экзистенциальному страху, к пережитой или ожидаемой трагедии. Оно представляет собой послание — искреннее (а следовательно, индивидуальное), бескорыстное, не вынужденное модой и все-таки нацеленное на то, чтобы дойти до чьего-то восприятия. Всеми этими свойствами обладает музыка Витольда Лютославского, понимаемая и как всё его наследие, прошедшее длительную эволюцию и удивляющее последовательностью своего развития, и как отдельные сочинения, демонстрирующие те же самые качества в микромасштабе.

Тень что дремлет

Густав Малер был старшим из четырнадцати братьев и сестер, девять из которых умерли в детстве. Одно из первых его сочинений — «Das klagende Lied» («Жалобная песнь»), траурная кантата, основанная на «Поющих косточках» Людвиг Бехштейна — сборнике стихотворных переложений народных сказок; впоследствии мотивы траурного марша, поющих ангелов, воскрешения из мертвых возвращаются во всем творчестве Малера. До чего похоже обстояло дело с Витольдом

Лютославским! Его отец Юзеф Лютославский активно занялся в России организацией польских легионов, которые в ходе российского контрнаступления должны были добиться возрождения польского государства, союзного с царской Россией. После отречения Николая II это навлекло на него обвинение в контрреволюционной деятельности. В 1918 г. он был по приказу Дзержинского расстрелян на окраине Москвы. Пятилетний Витольд вместе с матерью навесил отца в Бутырке за несколько дней до расстрела ^[2].

Одним из первых сочинений композитора были две части Реквиема: «Requiem aeternam» (рукопись пропала во время Варшавского восстания) и «Lacrimosa». Среди последних его сочинений — «Тарантелла» для баритона (1990) на текст стихотворения Хилера Беллока; она стала откликом на умирание доброй знакомой композитора от раковой опухоли и на ее смерть, и в ней есть нечто от *danse macabre*. А IV симфония (1992) начинается мрачными аккордами, которые могут свидетельствовать о темной стороне личности композитора.

Три его сочинения, посвященные памяти умерших, опираются на попарное соединение полутона и тритона — интервалов, символизирующих смерть. Это «Grave. Метаморфозы для виолончели и фортепьяно», «Траурная музыка», «Эпитафия» для гобоя и фортепиано.

Мотивы смерти появляются у Лютославского в более закамуфлированном виде в сочинениях, текст которых говорит о ночи. «Dans la nuit» — «В ночи» — этот словесный рефрен раз за разом возвращается в «Les espaces du sommeil» («Пространства сна») для баритона и оркестра на текст стихов сюрреалиста Робера Десноса. Плач, сон, ночь появляются и в стихотворении «Четыре гобелена владелицы замка Вержи» Жана-Франсуа Шабрена, которое послужило основой для цикла «Вытканые слова», — оттуда взят эпиграф и подзаголовки нашей статьи ^[3].

Во многих сочинениях Лютославского в финале появляется указание «morendo» — «замирая»; раньше оно нам встречалось в незавершенном цикле «Искусство фуги» И.С.Баха, где отдельные голоса угасают вместе со своим уходящим из жизни творцом. Этот мотив выступает и в «Лирической сюите» Альбана Берга (символизируя смерть чувства), а у Лютославского представляет собой один из показателей его стиля, возникая во многих композициях.

Со времен барокко смерть символизируется генеральной паузой. Последняя выдерживается, например, за несколько минут до окончания Третьей симфонии; после этой паузы наступает черед полифонического фрагмента, имеющего в себе нечто от беспорядочной неуравновешенности, а обозначение *misterioso* (таинственно, загадочно) ассоциируется с трансцендентностью.

Когда много лет спустя Тадеуш Качинский спросил Лютославского, какие композиторы ему особенно близки, он назвал Бетховена («тончайший виртуоз формы») и Шопена. О шопеновской Прелюдии фа-диез минор Лютославский говорит как об «абсолютном чуде», о чем-то таком, «что не случается нигде и никогда», а первую часть его же Сонаты си-бемоль минор называет «могучей — как скульптура, высеченная в скале», и сравнивает с Пятой симфонией Бетховена (Т.Качинский. Беседы с Витольдом Лютославским. Вроцлав: ТАУ, 1993. — На польск. яз.).

Отвечая на вопрос о семейных музыкальных традициях, он упомянул словно бы мимоходом, что его отец был пианистом, обученным почти профессионально, который «играл — вроде бы очень красиво — сонаты Бетховена, сочинения Шопена». А в одной из бесед с Ириной Никольской добавил: «Его игру я слушал — как мне рассказывали, — сидя под роялем» (Беседы Ирины Никольской с Витольдом Лютославским. Статьи. Воспоминания. М.: 1995. — «Беседы» изданы также в польском переводе).

В своей «Тетради мыслей»^[4] Лютославский пишет: «Мысль о всеобщей гибели вызывает во мне прямо противоположную реакцию (...) „быть может, всё погибает — так выразим же нечто такое, что, возможно, имеет надежду выжить”».

Разве не наперекор смерти Лютославский вводит в свою музыку столько жизни, сияния, интенсивного движения, резкости несмотря на эпизоды мягкости, драматизма несмотря на черты идиллии и лиризма? Разве не наперекор бренности он совершает великий синтез, словно Бах в XVIII и Брамс в XIX столетиях, возвращаясь к формам и технике, казалось бы, умершим, — вроде пассакальи, чаканы, фуги, токкаты, — к пониманию музыки как *musica mundana*, *harmonia mundi*, с формой строгой, словно математическая формула, и предельно интенсивной эмоциональной?

Трава что пробуждается

Лютославский неоднократно повторял, что сочиняет такую музыку, какую сам хотел бы услышать. Она не могла возникнуть иначе, нежели как плод состояния экстаза, вдохновения. И должна была иметь «какие-то более серьезные, более прочные обоснования, чем всего лишь демонстрацию способов композиции», — этот девиз служил композитору путеводной звездой в трудах над новым музыкальным языком. Одно из самых важных сочинений Лютославского, его визитная карточка во всеобщем восприятии, — Концерт для оркестра: его исполнение на I Международном фестивале современной музыки «Варшавская осень» в 1956 г. положило начало международной карьере композитора. Для немцев это сочинение уподобилось «Маленькой ночной серенаде»: фрагмент Концерта, точно так же усвоенный и распознаваемый, как серенада Моцарта, был сигналом популярной радиопередачи. Однако и это сочинение, и многие другие (Первую симфонию, которую сравнивают с Альбером Русселем, «этнический» «Силезский триптих», «Танцевальные прелюдии») сам Лютославский определял как суррогат творчества, возникший от неумения сочинять другую музыку — предчувствуемую в будущем.

Границей нового периода можно считать «Пять песен на слова Казимеры Иллакович» (1957), где композитор использует последовательное деление интервалов на холодные и горячие (наиболее отчетливое и выразительное в песне «Церковные колокола»), а затем использует их по горизонтали и вертикали, выстраивая новый гармонический язык. Этот цикл и «Траурная музыка» (1958) воспринимаются иногда как родственные сериальности Шёнберга и Веберна. Лютославский, однако, отрекается от такой интерпретации, хотя в 50-е годы это звучало как комплимент: «Сериальность (...) это замена действия состоянием», — писал он тогда (1959) в своих заметках.

С другой же стороны, у Лютославского, словно у Баха, повторяющего слово «Credo» («Верую») в Мессе си минор столько раз, сколько составляет произведение «божественных» чисел 12 и 7, музыка развивается в соответствии с установленной им самой моделью увеличения ритмических длительностей, размеров интервала или количества голосов, принимающих участие в каноне. Не имеет значения, какой именно фактор: интуиция или вычисления — привел к тому, что кульминационная точка Постлюдии-I приходится на то место, которое в Древней Греции обозначалось как точка золотого сечения. Парадокс: с одной стороны, бегство от безжизненности серии, а с другой — уход в убежище строго

зафиксированной конструкции... Одним из ответов может стать техника, изобретенная Лютославским: контролируемый алеаторизм, одновременное исполнение нескольких (иногда — даже нескольких десятков) партий со строго определенным мелодическим рисунком и ритмом, но в любом темпе (этими партиями не дирижируют).

Удовлетворенный садовник

Алеаторизм Лютославского — это очевидное следствие алеаторизма Джона Кейджа, который одним из конструктивных элементов музыки сделал случай («alea» — «игральная кость»). Фортепьянный концерт Кейджа, услышанный Лютославским по радио, вдохновил его на поиски новых решений, касающихся нотной записи. Техника коллективного *ad libitum* проявилась в 1963 г. в «Венецианских играх» (первую страницу рукописи этой партитуры композитор подарил Кейджу для его книги о современной музыкальной нотации), считающихся одним из величайших шедевров полифонии XX века. А самое эффектное и впечатляющее сочинение, где применяется алеаторический контрапункт, — «Три поэмы Анри Мишо». Хор из двадцати сольных голосов противопоставлен оркестру, и для обоих ансамблей требуются два отдельных дирижера. Это вовсе не должен был быть способ показать себя современным (как многократно повторял Лютославский, новизна стареет быстрее всего) — алеаторический контрапункт позволял ему возбудить самостоятельную активность, подобную активности в мире природы. Он радовался, когда эту увлеченность разделяли другие. Дирижер Виктор Десарзан после исполнения «Трех поэм» сказал: «Очень приятно работать над такими сочинениями. Такой труд — словно труд садовника. Высадив растения, садовник уже только с удовлетворением поглядывает на свой сад: растения растут сами, развиваются и цветут. Аналогично действует и дирижер во время концерта, когда уже только подает знак начинать следующую часть (*ad libitum*. — М.Г.), а музыка развивается сама, как растения или цветы». Когда это сочинение услышал Мстислав Ростропович, он заказал Лютославскому похожее — так родился Виолончельный концерт, посвященный русскому виолончелисту. После тридцати лет исполнительства Ростроповичу пришлось изучить новую аппликатуру — по причине выступающих в сочинении четвертьтонов, — проторяя другим путь к этой музыке. В программках концертов это сочинение называли «историей Дон Кихота XX века».

В действительности независимость, ритмическая непредсказуемость выступают у Лютославского изначально.

Поступь что меня чарует

Лютославский учился у Витольда Малишевского, ученика Римского-Корсакова (вероятно, отсюда слова Лютославского об авторе «Золотого петушка» как о вершине музыки). До войны Малишевский читал лекции о фортепьянных сонатах Бетховена, указывая на то мастерство, с каким Бетховен вступает в игру с воображаемым слушателем, ведя его внимание в определенном направлении, меняя это направление путем внесения мелких изменений в предшествующее течение. Лютославский обладал повышенной чувствительностью к потенциальному отклику слушателя и тоже вел с ним игру. Одно из ее проявлений — новая двухчастная форма, берущая за образец, в частности, идею Гайдна предпослать возвращению главной темы в репризе длинный раздел, наполненный повторением тематических мотивов, так чтобы вызвать у слушателя чувство ожидания. Двухчастная форма наиболее очевидна у Лютославского во Второй симфонии: первая часть озаглавлена «Hésitant» — «Колеблясь»; здесь композитор многократно начинает тематические линии, которым предстоит приобрести полный, законченный облик в части «Direct» — «Напрямик». Композитор следует также примеру современного театра: форма его сочинений складывается в конфликте сольной и ансамблевой партий — там идут насмешки, резкие обрывы, борьба за возможность просуществовать повторно, хотя бы эпизодически, усталость от конфликта, от причиняемого насилия. «Livre pour orchestre» («Книгу для оркестра») завершают раздражающие, но очень тихие аккорды струнных — они производят такое впечатление, будто в театре разыгрывается сцена, где все замерли в оцепенении. Мы вновь слышим, как агрессивные, надрывные реплики медных ослабевают, словно уже растратили энергию, — и этот момент используют флейты, вступающие с чарующей мелодией, как будто заводящей разговор о какой-то тайне. «Книга для оркестра» — еще один пример употребления контролируемого алеаторизма. Она состоит из chapitres (глав) и коротких, целиком сочиненных в технике алеаторического контрапункта интерлюдий с камерным составом. Роль этих вторых — рассеять внимание слушателя, дать ему минутку отдыха, вроде той, что образуется при переворачивании страниц книги.

Способом достучаться до воображаемого слушателя наверняка служит — помимо искренности, которая, по мнению

Лютославского, состоит в «умении давать свидетельство о мире внутри меня», — еще и высочайший класс его музыки, достигнутый, в частности, через диалог с традициями, через достижение высочайшего мастерства фактуры (по стилю трактовки струнных в композиторе видят великого продолжателя линии Корелли, Вивальди, Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Бартока).

Музыка Лютославского считается трудной, она доходит до тех, у кого, наверно, имеется что-то общее с самим композитором. Он был человеком необычайно скромным («кто не скромен, тот смешон»), а потому не ожидал популярности, однако называл «большой наградой» доказательства признания, например письма от слушателей, и говорил: «Я просматриваю такие письма в дурные минуты моей жизни (...) их чтение меня утешает».

-
1. «Тысяча коней задыхающихся, тысяча коней вороных несут мое горе» (пер. дословный). Из текста Жана-Франсуа Шабрена, на который написаны «Paroles tissées» («Вытканые слова») Лютославского для тенора и камерного оркестра (1965).
 2. В течение нескольких лет, предшествовавших гибели отца, Витольд Лютославский жил в Москве на Средней Пресне.
 3. «Une ombre qui sommeille / une herbe qui s'éveille / un pas qui m'émerveille» («Тень что дремлет / трава что пробуждается / поступь что меня чарует». Пер. дословный) — последнее трехстишие первой части..
 4. «Тетрадь мыслей» — тетрадь с заметками композитора, сейчас вместе со всеми его рукописями находится в архиве Фонда Пауля Захера в Швейцарии.

СИМВОЛ И ФОРМА

Польская живопись была и остается частью культурного ландшафта Центральной Европы. Польские художники учились, творили и выставлялись по всей Европе: в Петербурге и Москве, Хельсинки и Париже, Лондоне и Мадриде. С Россией их связывали географическая общность и славянские корни. Большая группа польских художников получила образование в Петербургской академии художеств: Казимеж Стабровский в 1895–1897 годах учился у Ильи Репина, Фердинанд Рушиц – у Ивана Шишкина и Архипа Куинджи; Владислав Стшеминьский, друживший с Казимиром Малевичем, переехал в 1922 году в Польшу из России, где жил и работал. На фоне политических разногласий, войн, конфликтов искусство в индивидуальном измерении жизни художника проявляло способность к интегрированию и преодолению границ вопреки общественному строю и дипломатическим конвенциям. Возможно, поэтому художественные явления предвосхищали общественные и политические события, зачастую с большим опережением, порой настолько большим, что казались сложными для восприятия и несвоевременными.

Художественные круги принципиально отвергали национальные стереотипы, благодаря системе образования и иной иерархии ценностей им удалось задолго до возникновения идеи объединенной Европы создать Европу искусства, гораздо большую, чем нынешний Евросоюз. Сегодня особенно интересен тот факт, что в этой системе взаимосвязей и взаимовлияний смогли сформироваться некие специфические для определенных регионов черты, позволяющие распознавать «дух» культурного контекста, зачастую, скорее, сознательно сконструированного, чем просто вытекающего из творческого замысла.

.....

Польша, расположенная в Центральной Европе, представляет собой одно из первых образованных на континенте государств (вторая половина X века); эта славянская страна с развитым языковым, религиозным и культурным сообществом существует почти тысячу лет. Политический кризис наступил в конце XVIII столетия, когда Россия, Пруссия и Австрия произвели три так называемых раздела Польши (1772, 1793, 1795), то есть разделили польские земли между собой.

Утрата государственности, по закону противодействия (упрямство – весьма характерная для поляков черта), усилило чувство принадлежности к единому народу, к общим знакам и символам. Период между 1795 и 1918 годами, отмеченный регулярными народными восстаниями, эмиграцией, частыми случаями конфискации имущества, как никогда раньше в истории, изобилует примерами духовного, языкового, литературного и художественного единения. Там, где отсутствовало политическое и экономическое развитие, господствовали искусство и литература. Там, где нельзя было говорить прямо, пользовались кодом скрытых значений. Уже во второй половине XIX века существовал сложный, альтернативный язык знаков и символов, с помощью которого в одежде, украшениях, способе ношения оружия, седлания лошади, книжных переплетах, очередности подачи блюд, пении песен, музыкальных произведениях, а также в апеллировании к древней мифологии и древней Сарматии (есть версия, будто поляки произошли от европейских сарматов, упоминаемых Птолемеем во II веке н.э.) находила отражение символическая действительность, понятная только для посвященных и существующая параллельно с реальностью.

Таким образом, когда в горниле культурных изменений в Европе в конце XIX века появилось направление, называемое «символизм», польское искусство, как будто ожидая этого формального знака извне, открыло для себя мир символов. Символизм в живописи внезапно приобрел и смысл, и новизну, знаменуя собой перемены. Напечатанный в 1886 году в парижской «Фигаро» манифест французских поэтов под названием Символизм (впрочем, как и творчество художника Фернана Кнопффа) стал одним из многочисленных симптомов европейского модернизма. В Польше введение понятия символизма было сродни обретению источника правды и пророчеств.

Для французских художников символизм явился реакцией на импрессионизм, польские художники сделали символическим все, что в эпоху декаданса имело мистический оттенок: свет, цвет, пейзаж, климат, настроение, интерьер, взгляд, фигуры в странном окружении. Как будто они хотели использовать для описания мира, в котором творили, поэзию Жана Мореаса (1856–1910). В стихотворении Черный кот то же настроение, что и в картине Портрет жены с котом Конрада Кшижановского, с той лишь разницей, что строфы Мореаса, Поля Адана, Густава Кана создают эту атмосферу искусственно, пытаясь вытянуть хоть тень угрозы из описания солнца и покоя, в то время как у польских художников эти страх,

крайность, странность, упадок являются солью земли, сущностью времени, повседневной жизнью, а их символы должны переносить зрителя в мир сказки, чувств, веры, природы.

.....

Период, к которому относятся представленные на выставке произведения, точнее, 59 лет (1880–1939), – это время, когда решался вопрос о будущем культуры и самосознания современной Польши. За время жизни двух поколений художников произошли изменения, которые хоть и начались за несколько десятков лет до этого, но были пройдены в невероятном для того времени темпе. Первая половина XIX века стала для польской культуры великой литературной эпохой. Норманн Дэвис пишет, что «в отличие от других языков Восточной Европы польский язык еще задолго до разделов страны был эффективным инструментом культурного развития. В отличие, например, от таких языков, как чешский, словацкий или украинский, [...] польский язык обладал богатой литературой и использовался в обиходе всеми социальными группами во всех областях искусства, науки и экономики. Он развивался интенсивнее русского языка и находился примерно на уровне развития немецкого языка. Со всей уверенностью можно сказать, что до момента развития современной техники в конце XIX века это был один из самых важных языков Европы». Когда Польша прекратила свое существование как государство, а сильные тенденции русифицировать и германизировать поляков стали инструментом политической борьбы, польский язык стал для поляков настоящей родиной. Дэвис отмечает также, что в середине XIX века почти одна треть польского населения жила в эмиграции (то есть за пределами исторической территории Польши); наиболее многочисленные группы поляков проживали во Франции, Соединенных Штатах Америки, Швейцарии, Италии, и, несмотря на это, – а, возможно, именно благодаря такой рассредоточенности поляков – в польской литературе появились настоящие шедевры.

.....

Символы стали мостами между прошлым и будущим, настоящее казалось неважным и изменяющимся, как быстрая река. Символы выполняли тройную функцию: они были литературным ключом к живописи, тайным знаком, которым владели только избранные, но, самое главное, они давали надежду на осуществление исторической мечты о переменах, о свободе. История была источником идей и размышлений о

будущем, источником теней и света, но именно история-миф, театральная, с декорациями XIX века, известная только посвященным. На территориях, отошедших к Пруссии и России, где польский язык был исключен из школьной программы и запрещен, исторические символы имели свой смысл, независимо от официального языка. Впервые живопись приобрела большее значение, чем литература.

.....

Принятие классической грусти *fin-de-siècle*, охватившего всю Европу того времени, в польской живописи принимает характер диагноза действительности. Весь мир наполняется тайной, исчезанием, и, как в ленте Мебиуса, несмотря на наличие только двух измерений, странность природы самыми разными способами проникает в мир человека (сила образа), нивелируются границы между садом, театром, домом: павлины, стрекозы, бабочки – большие и разноцветные, красивые и уродливые – сопутствуют молодости, любви, старости. Мир сокрытых значений разрастается и разбухает до размеров, в которых уже только сказка и театр представляются убедительными в своей выдуманной правде.

Неврастеническая атмосфера знаков и символов находит свою «землю обетованную» в творчестве Витольда Войткевича и Войцеха Вейса. Детские хороводы, побег принцессы, похищение в кукольном мире, трагедия клоуна более драматичны, чем войны, революции и пожары Европы. В польском искусстве рубежа веков возникает *hortus inclusus*? интимный и закрытый сад, где культивируется чувствительность, восприимчивость к оттенкам значений, код разделения. Как в средневековом *hortus conclusus* или итальянском *giardino segreto*, войти туда может только хозяин сада.

.....

Польские художники особое внимание уделяли ностальгическим горным пейзажам, что также было связано с увлечением другими культурами и духовной философией. Последняя четверть XIX века и период до начала Второй мировой войны – это время несравнимого ни с чем в польской культуре рождения мифа Закопане. Еще в период раздела, расположенная у подножия Татр (Западные Карпаты) деревня Закопане, живописный уголок Галиции, незаметно превращается в интеллектуальную столицу на несуществующей политической карте Польши. Курорт, на котором лечили туберкулез (довольно безрезультатно, поскольку климат там достаточно суровый), становится

местом встреч художников, музыкантов, политиков, писателей, философов, ученых из разных регионов бывшей Польши, а также из эмиграции.

Приезд Станислава Виткевича – отца и его восхищение культурой местных горцев приводят к возникновению национального стиля, названного «закопанским», – изысканной формы декоративного искусства, навеянного фольклором, но наполненного интеллектуальной утонченностью, деталями, гармонии с архитектурой и пейзажем. В нем появляются мотивы, которые можно было встретить в то время в Англии, Германии (Баварии), Швейцарии, скандинавских странах, то есть там, где народно-прикладное искусство подчеркивало связь традиций с современностью. Однако в отличие от них закопанский стиль – это не только декоративный стиль, но и воплощение обретения истории и родины в духовной чистоте людей Подгалья. Может показаться странным, но этот стиль распространился не только на региональном уровне и не только в среде богатых, чутких к искусству интеллектуалов, пропагандирующих его в других частях Польши (Варшаве, Кракове, Казимеже-на-Висле, Торуне), но и среди горцев, воспринявших версию искусства Станислава Виткевича как свою собственную.

.....

Впрочем, «антисимволическое» кипение длилось примерно с 1910 года и усилилось после начала деятельности группы Польских экспрессионистов (1917), позже называемых формистами (1919–1922). Формальные эксперименты, совпавшие по времени с развитием кубизма, и позже все более глубокие поиски «чистого искусства», а также появление большого числа выдающихся молодых талантов после 1918 года привели к очень интересному и невероятно богатому событиям межвоенному периоду. «Старая» живопись подвергалась различным «дезавуирующим акциям», как, например, акция, описанная Александром Рафаловским и произошедшая в главном варшавском салоне искусств – галерее общества изобразительных искусств «Захента», пользующейся среди молодежи дурной славой непрогрессивной галереи. «Факт, что картины рассчитаны только на продажу, возмутил студентов школы, – пишет Рафаловский. – Нас собралось тринадцать человек [...]. Мы пошли в “Захенту” в воскресенье, в самый посещаемый день. По условному сигналу мы стали снимать картины со стен. Почти мгновенно картины среднего размера оказались на полу. Большие картины снимали с помощью живых лестниц: более

сильный товарищ нагибался, а на его спину забирался второй. Общими усилиями картины были сняты. Публика стала нервничать. Одни аплодировали, другие, импульсивно протестуя, потчевали нас смачными выражениями. “Захенту” закрыли, появилась полиция [...]». Рафаловский пишет также о поздравительном письме, полученном из Кракова от представителя старшего поколения Яцека Мальчевского, выразившего свою солидарность с молодыми.

Горнило крайних позиций и разнообразных тенденций кипело с момента освобождения в 1918 году до нападения гитлеровских войск на Польшу в сентябре 1939 года. В это время осуществлялся диалог мировоззрений между теми, кто считал Европу своей художественной родиной, и теми, для кого польская ментальность и местная традиция были художественной обязанностью. Конфликт мнений нарастал и во многих случаях, как и раньше, заканчивался эмиграцией. Разлад усиливался слишком низким уровнем культурного сознания людей, проживавших на трех аннексированных территориях, каждая из которых отличалась своими устоями; а также отсутствием систематического образования на польском языке и этнической разнородностью на польских землях. Художественная деятельность, связанная с новаторскими тенденциями, не находила доброжелательного отклика, не считая крупных городских центров с давними традициями, где были расположены высшие учебные заведения, например Варшава, Вильнюс (ныне Литва), Львов (ныне Украина), Краков, Познань и Закопане. Современное искусство находилось в оппозиции к «польскому искусству», связанному с традицией и местной спецификой.

.....

Символический универсализм Малевича становился особенно заметным на фоне деятельности таких полярных, обращенных к народным традициям, художественных объединений, как Ритм, Братство Св. Луки, Единорог, Общество пропаганды польского искусства за рубежом, Лад, а позже Фригийский колпак, сознательно продолжавших символические мотивы полоноцентризма.

Удалось ли авангардным художникам воплотить в жизнь переход от символического к «универсальному» современному искусству? Развивалось ли в принципе польское современное искусство «за пределами» философского литературного и исторического контекстов? Произошел ли в результате раздел миров?

Это сложный вопрос, но попытка найти на него ответ приближает нас к сформулированию *genum specificum* польской культуры. Редко анализируется ее склонность к индивидуализму, меланхолии и самоиронии, зачастую выражающейся в независимости от моды, стиля, окружения и периода времени. Данные черты, связанные с эмоциями, интеллектом, экспрессией и имеющие глубокое влияние на сущность творчества, Станислав Игнаций Виткевич называл «нутроватостью» и считал эссенцией искусства. Еще до 1919 года, он писал: «Произведение искусства должно родиться, *passiez-moi l'expression grotesque*, из самого что ни на есть нутра данного индивидуума, и в результате должно быть как можно более свободным от этой “нутроватости”». Выражение этой «нутроватости» хотя и подвергалась критике, но встречалась во многих теориях. Уже в 1910 году Василий Кандинский писал: «Взрослея, мы начинаем замечать духовные ценности – люди и вещи обретают свой “внутренний голос”».

Этот «внутренний голос» проводит нас по второй части выставки, где показано, насколько близки мотивы в творчестве польских художников, относящихся к двум разным, но равно талантливым поколениям. Соотнесению картин сопутствовал вопрос о смысле символа как моста, в том числе и тогда, когда происходил уход от мира узнаваемых предметов или же их глубокая художественная трансформация. Из этого вопроса вытекает следующий: действительно ли художникам удалось абстрагироваться от символизма?

Среди художников молодого поколения, появившихся на художественной сцене в начале 1920-х годов, были Леон Хвистек, Станислав Игнаций Виткевич (Виткаций), Титус Чижевский и Зигмунт Валишевский. Два последних, после кубистических экспериментов (Чижевский был автором несохранившихся многоплоскостных картин), снова обратились к живописи, в которой форма и цвет являлись важнейшей формой поисков, однако им были уже известны провозглашаемые тогда теории беспредметного искусства, поэтому они пытались подойти к картине, как к «параллельной действительности». Они так же, как и более радикально настроенные Владислав Стшеминьский, Хенрик Стажевский и Александр Рафаловский, стремились не только определить законы «непредставляющего образа», но хотели, чтобы «по особенному характеру формальных отношений между тем ценным, что есть в картине, на основе цветовой гармонии, по виду фактуры, посредством сравнительного анализа вероятных замыслов, использованных средств и достигнутой экспрессии, можно было понять динамику процесса

формирования и предполагаемые намерения художника», – как писал Казимир Малевич в 1927 году в своем Беспредметном мире. В том же духе, что и Малевич, связь между миром и энергией, космическим порядком и композицией картины искали (опираясь на теорию) Пит Мондриан и Тео ван Дуйсбург.

.....

Этого высочайшего уровня абстрагирования – от отдельных элементов действительности до описывающих ее общих принципов – не так легко было достигнуть, и после периода увлечения теориями «чистого искусства» многие художники вернулись к детальности представляемого мира. Титус Чижевский, Виткаций, Александр Рафаловский, а также Стшеминьский и Берлеви (в более поздний период творчества) вернулись к изображению отдельных фрагментов (обнаженная натура, натюрморты).

.....

В конце 1920-х годов эти две, на первый взгляд противоположные, тенденции стали пересекаться. В искусстве Бронислава Войцеха Линке, Анджея Пронашко, Марьяна Щирбулы, Тамары Лемпицкой ощущается подобная атмосфера, хотя эти художники относились к совершенно разным художественным течениям. В самом выборе темы, жесте, мотиве (например, накрытый стол) заметна была предрасположенность к подобной интерпретации мира, использование тех же элементов абсурда, обращение к записанным в истории символов предметам. Необходимо помнить, что в это же время Эрнст Кассирер провозгласил Философию символических форм, что вызвало бурную дискуссию. Кассирер предложил новое понимание человека как *animal symbolicum*, создав тем самым, концепцию, альтернативную способностям оперировать разумом и абстракцией. Идея Кассирера, хотя и не сразу, но довольно глубоко проникла в сознание художников: мифическое мышление, свойственное польской культуре, стало в начале 1930-х годов одним из направлений развития европейской гуманистической идеи.

В европейском искусстве данный период связывают с рождением и экспансией сюрреализма, в польском искусстве в 1930-е годы развивается «новая символическая объективность», визионерский тип действительности, параллельной фактически существующей. И снова выделение «предмета» становится элементом символической игры, используемой, впрочем, не только в живописи, но и в

авангардном театре (театр Виткация), а позже в кино, в том числе мультфильме Стефана Темерсона или фотомонтаже Мечислава Берманна. Львовское объединение Артес или Первая краковская группа перенесли эти постулаты во вторую половину XX века.

.....

С начала 1930-х годов, как и предвидел Кассирер, многие художники вновь попадают в плен значений и символов. Неудавшаяся попытка обойтись без «литературного контекста» привела к поискам чего-то «запредельного», т.е. второго, параллельного пространства картины. И что интересно, как и в конце XIX века, найти этот «сверхмир» помогает оккультизм, над теориями конструктивизма простирается мост от теософских экспериментов до сюрреализма. Даже тесно связанный с авангардным и модернистическим искусством поэт Ян Бжењковский (1903–1983) посвящает сюрреализму литературное исследование, анализируя множество творческих методов данного направления, в том числе обращая внимание на «надреалистические вещи» и значение снов. В искусстве и художественной критике начинается период, который, как напишет позже Умберто Эко, «раскрутит спираль наинтерпретаций». Определенные понятия, знаки, символы начинают безумный танец ассоциаций. «Когда будет запущен механизм аналогий, нет никакой гарантии в том, что он остановится. Образ, понятие или правда, обнаруженная за занавесом подобия, будут рассматриваться как знак очередной аналогии». С подобным явлением мы сталкиваемся в польском искусстве очень часто. Образ картины *Primavera* Яна Цибиса – обнаженная фигура, похожая на мертвеца, окруженная парящими в воздухе цветами, весенний сон; возникает множество ассоциаций, но интерпретация отсутствует. Натурщица с котом Титуса Чижевского вызывает десятки интерпретаций и возможностей расшифровать знаки (кот, штора, свиток, спираль, закрытый глаз), но совершенно непонятно, о чем говорит данный образ.

.....

Сложно сказать, в каком направлении пошло развитие польского искусства, если бы не началась Вторая мировая война. После двадцати лет свободы и невероятного всплеска художественной жизни сентябрь 1939 года неожиданно нанес жесточайший удар. Массовое уничтожение людей, расстрелы польских художников и интеллигенции в атмосфере «удивления» остальной части Европы, еще не втянутой в войну. Вскоре после этого с противоположной стороны на

территорию Польши вторгся Советский Союз, и снова начались массовые убийства, уничтожение поляков и евреев, огромная волна послевоенной эмиграции и вместо свободы – советская оккупация. Таким образом, традиция знаков и символов сошла на нет.

.....

Для нас, зрителей начала XXI века, имеющих возможность все чаще объединять в сознании и сравнивать искусство различных культур и миров, польская самобытность того периода скорее всего объясняется слиянием двух исторических явлений: многовековой традиции культуры, тождественности языка и системы знаков и символов с трагическими катаклизмами истории, какими стали период неволи, а затем травматический опыт двух мировых войн. В этом контексте польский пансимволизм стал островом, на котором были спрятаны сокровища.

Символы стали мостами между прошлым и будущим, настоящее казалось неважным и изменяющимся, как быстрая река. Символы выполняли тройную функцию: они были литературным ключом к живописи, тайным знаком, которым владели только избранные, но, самое главное, они давали надежду на осуществление исторической мечты о переменах, о свободе. История была источником идей и размышлений о будущем, источником теней и света, но именно история – миф, театральная, с декорациями XIX века, известная только посвященным. На территориях, отошедших к Пруссии и России, где польский язык был исключен из школьной программы и запрещен, исторические символы имели свой смысл, независимо от официального языка. Впервые живопись приобрела большее значение, чем литература.

.....

Принятие классической грусти *fin-de-si?cle*, охватившего всю Европу того времени, в польской живописи принимает характер диагноза действительности. Весь мир наполняется тайной, исчезанием, и, как в ленте Мебиуса, несмотря на наличие только двух измерений, странность природы самыми разными способами проникает в мир человека (сила образа), нивелируются границы между садом, театром, домом: павлины, стрекозы, бабочки – большие и разноцветные, красивые и уродливые – сопутствуют молодости, любви, старости. Мир сокрытых значений разрастается и разбухает до размеров, в которых уже только сказка и театр представляются убедительными в своей выдуманной правде.

Неврастеническая атмосфера знаков и символов находит свою «землю обетованную» в творчестве Витольда Войткевича и Войцеха Вейса. Детские хороводы, побег принцессы, похищение в кукольном мире, трагедия клоуна более драматичны, чем войны, революции и пожары Европы. В польском искусстве рубежа веков возникает *hortus inclusus* ? интимный и закрытый сад, где культивируется чувствительность, восприимчивость к оттенкам значений, код разделения. Как в средневековом *hortus conclusus* или итальянском *giardino segreto*, войти туда может только хозяин сада.

.....

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Через двадцать лет после эксперимента «круглого стола» и выборов 4 июня 1989 года, когда избиратели, которые в первый раз могли голосовать за оппозиционных кандидатов, а не за коммунистический список, высказались в пользу изменения политической системы и массово поддержали демократический выбор, имеет смысл задуматься над тем, как происходили начатые тогда изменения и какое отражение они нашли в освобожденном от цензуры пространстве художественного творчества. Ряд семинаров и конференций, посвященных этой проблематике, показал, что данный исторический перелом не находит, особенно в литературе, никакого убедительного свидетельства. Впрочем, нашел в кино, что особенно интересно, потому что польское кино остается в принципе несамостоятельным и самые значительные фильмы вырастают именно из литературы. На этот раз было иначе, а событием, которое в наибольшей мере запомнилось, оказался фильм Владислава Пасиковского «Псы» (1992).

Об этом — эссе Ярослава Куиша «Между „Псами” и „Долгом”», опубликованное в последнем номере ежеквартального журнала «**Res Publica нова**» (2009, №5/), в тематическом блоке под названием «Иконы — 20 лет свободы в культуре». Ярослав Куиш пишет: «Началось с красавца Гарри Купера... Накануне 4 июня 1989 г. по всей Польской Народной Республике появились плакаты с красным символом „Солидарности” и надписью „Ровно в полдень”. Одинокий шериф маленького городка шел к избирательной урне, чтобы отдать голос за Гражданский комитет. (...) Кто мог быть польским шерифом, отвечающим высоким киностандартам Голливуда? Кто на берегах Вислы мог, как Гарри Купер, одновременно быть всегда справедливым и уверенно пользоваться огнестрельным оружием? С этим возникла проблема. Едва ли подходили Лех Валенса, Яцек Куронь или Адам Михник (знаменитые герои так никогда и не снятых художественных лент). Абсолютное большинство польских оппозиционеров отвергало насилие как способ ведения политической борьбы. Листовки — да, „калашников” — нет. (...) А Владислав Пасиковский хотел смеси из Запада, которого поляки были достойны, и великих тайн Востока, которые воплощали секретные службы. Теоретически мог бы

снять, например, фильм о майоре госбезопасности Адаме Ходыше, который героически помогал оппозиции. Ходыш, однако, мог для многих явиться укором. Не такой простой фильм требовался в начале 90-х».

Необходимо было создать героя нового типа: «Для помещенного в отечественные декорации жесткого фильма в стиле action мог сгодиться только (...) гэбэшник... Так родился польский „предтеча” голливудского героя. Франтишек Маурер, 37 лет, женат, один ребенок. (...) Психологически и по биографии не вполне однозначный. Эта неоднозначность была его козырем. Он прекрасно подходил на роль героя нашего времени: поляки, иногда задумывающиеся над тем, что в коммунизме «все были замешаны», могли видеть в этом герое отпущение своих грехов. Человек, который никогда не мог существовать, но именно поэтому имел шанс стать героем в массовом сознании. Маурер был запутанным, как соглашения «круглого стола». Маурер блуждал в потемках переходных лет, и в этом смысле он был типичным поляком, за небольшим исключением — снайперски стрелял. (...) В новой действительности Маурер должен был стать положительным героем, который в глазах зрителя преображается в полицейского новой Польской Республики, готового после 1989 г. убивать во имя другой справедливости».

Фильм пользовался, да и до сих пор пользуется, большим успехом. Один из его козырей — это живой, насыщенный вульгаризмами язык, на чем специально останавливается Куиш, подчеркивая, что «на языке Пасиковского заговорили». Важны и символические сцены. Как известно, коммунистическая охранка начала уничтожать личные дела своих сотрудников. И хотя эта акция была прервана, многих документов не разыскать (во всяком случае, сейчас, поскольку я лично уверен, что гэбисты оставили себе копии). Со сцены уничтожения бумаг начинается фильм: «Красные буквы названия „ПСЬІ” и вой сирены появляются на фоне папок, которыми забиты кузова грузовиков. Ночь (...) гэбэшники увозят в небытие один из символов польской жизни последних 20 лет. (...) У Пасиковского вымысел сливается с реальностью. Знаменитую сцену сжигания папок и питья водки можно связать с решением генерала Тадеуша Щигеля, который в сентябре 1989 г. официально приказал уничтожить досье на священнослужителей и запретил заводить новые. (...) Пасиковский оказался оракулом. Развенчанием оппозиционных мифов он возвестил о временах, когда нет ничего святого. (...) Гэбэшники греют руки над костром, пламя занимает весь экран. На вопрос: «Пан поручик, что теперь

будет?» — следует ответ Маурера: «Ничего. Как было, так и будет». А через минуту добавляет: «Или лучше». Можно сказать, что весь фильм построен так, чтобы зритель мог задуматься, ошибался ли гэбист».

О «Псах» пишет также в посвященном двадцатой годовщине независимости номере **«Пшеглёнда политычного»** (№ 49) социолог Шимон Врубель: «В то самое время, когда Анджей Вайда уходит в работу над „Перстнем с орлом в короне” и дописывает очередные главы в польский исторический мартиролог, Пасиковский стремится в одном радикальном фильме расколдовать всю нашу современность и дать картину двусмысленного рождения III Речи Посполитой. Главный герой „Псов”, Франц Маурер, по образованию юрист, по характеру циник, по внешности плейбой, завершает „карьеру” в госбезопасности. Эта карьера ознаменована грустной статистикой: 31 выговор и 18 благодарностей. Он, однако, не проходит политической проверки — „верификации”. Попадает на работу в полицию. Но до того вместе с коллегами жжет гэбэшные архивы, и это пламя возвещает рождение нового социально-политического устройства. Возвещает также проблемы — с тем, что называется памятью о коммунизме, а кроме того, проблемы, которые, как сегодня уже всем известно, будут сотрясать в конвульсиях нашу историческую память, политику в сфере массовой информации, образования, права, да и во всех иных сферах. Возможно, этим и объясняется сила воздействия „Псов” и то, что фильм стал культовым. Одна из ключевых сцен фильма: Франц Маурер, после „наведения общественного порядка” с архивными бумагами, после ритуального танца забвения, возвращается в дом своей бывшей жены, который временно стал его собственным домом, и проводит такой же акт уничтожения в личной сфере: сжигает семейные фотографии с женой и ребенком, эмигрировавшими в Америку».

Это верное наблюдение. Потому хотя бы, что смена эпох выразительней всего проявляется в том, как люди заново пишут свои биографии. А чтобы написать заново, они должны затереть следы, которые оставили на своем пути. Так и здесь: «Маурер на индивидуальном уровне повторяет то, что только что совершилось на социальном. (...) Увы, даже пламя не в состоянии его очистить. Франц Маурер очень болезненно убеждается в том, что начать с чистого листа невозможно, а история, если и повторяется, то всегда как фарс». Далее Ш.Врубель проводит интересный анализ ключевых сцен:

«В первой сцене фильма мы узнаем, что Франц выстрелом с двухсот метров убил своего товарища, который хотел от коммунистических властей выполнения требований „Солидарности” (...) в предпоследней сцене Маурер убивает Оля, который также был когда-то его товарищем, но деградировал, опустился. (...). В одной из ключевых сцен Франц говорит Олю: „Послушай, мы должны оставаться псами. Если мы не остановим этих сукиных сынов, мы и в самом деле — отбросы, а наше место на свалке истории”. Что бы ни имел в виду Пасиковский, вкладывая в уста Франца слова „остановить сукиных сынов”, но проблема, как остановить произвол самоуправцев, которые в своем ничем не ограниченном своеволии подчиняют себе закон и не способны противостоять искусству тирании, сегодня, как никогда, актуальна. Утверждаю со всей ответственностью, на которую я пока способен, что начальная сцена из „Псов” Пасиковского, представляющая радость гэбэшников-псов над горящими архивами коммунистического мира, является, помимо всего, ключевой сценой, позволяющей увидеть истоки нашей современности. (...) Если мы вспомним аналитические материалы, касающиеся связей современной политики с коррумпированным и грязным миром агентурных архивов (...) если прислушаемся к польским спорам об историческом статусе «круглого стола» и вспомним постоянно возобновляющиеся стычки между приверженцами «подведения жирной черты» и защитниками незавершенного проекта люстрации, если вновь высвободим в себе эмоции, связанные с оглашением так называемого списка Вильдштейна, если вспомним обычные для польских застолий по выходным дням споры о деле генерала Войцеха Ярузельского, — если, припомнив все это, мы взглянем на нашу новейшую историю, то тогда, быть может, поймем, что Пасиковский оказался более проницательным и смелым в своем мышлении, чем многие социологи, верящие в свои опросы и сообщающие о возрастании оптимизма среди поляков III Речи Посполитой. Тогда, быть может, мы поймем, что значение „Псов” несопоставимо больше, чем значение „Перстня с орлом в короне”. (...) Смотри „Псов”, мы наблюдали момент собственного рождения».

Любопытный взгляд на вопрос этого самого момента рождения содержится в эссе Павла Спевака «Польская революция», напечатанном в том же номере **«Пшеглёнда polityчного»**: «В 1989 м и следующих годах встретились две истории. Первая — это история „Солидарности” как профсоюза, ее лидеров, идеалов, целей, а вторая — история демократической (или демократизирующейся), независимой Речи Посполитой. Эти две истории не слились в единую. „Солидарность” была нужна

всем. Без нее не было бы свободной Польши в том виде, в котором она родилась. „Солидарность” осталась символом, воспоминанием, эпопеей, началом новой Польши, а после 1989 го стала инструментом, используемым всеми политиками. Правительству Мазовецкого „Солидарность” нужна была как таран, как спасительное прикрытие, как надежный тыл, но ничего из программы „Солидарности” это правительство не приняло. В состав кабинета не вошел никто из ее структур». Это верно — обе истории пошли разными дорогами, а с течением времени «„Солидарность” утрачивала свою субъектность под воздействием возобладавших над ней интересов и игр. Она превращалась в небольшой профсоюз, иногда агрессивный, но стала и остается только тенью былой силы. С минувшими временами ее объединяет название — и, пожалуй, вряд ли что еще».

Продолжая тему, но в другой перспективе, я хочу обратить внимание на интервью, которое дал **«Тыжднику повшехному»** (2009, №24) профессор Пшемислав Чаплинский — автор недавно изданной замечательной книги о польской прозе после 1989 г. «Что поменять в Польше». С профессором беседуют Анджей Франашек и Гжегож Янкович. Интервью озаглавлено «Пора изменить дискурс!» и в определенной мере перекликается с замечанием Шимона Врубеля о разнице художнического взгляда в картинах Вайды и Пасиковского. Пасиковский предложил новый, свободный от давления «национального долга» и мартирологии стиль повествования о польских судьбах. То же происходит и в прозе, которая отбрасывает традиционные критерии художественных ценностей, уходящие корнями в XIX век или период после 1918 года. Минуло сто лет, мир изменился, причем куда значительней, чем когда отец польского «авангарда» Тадеуш Пейпер писал, что «мир сменил кожу». Сегодня мы знаем, что изменилась структура мира, и это знание ставит писателя перед новыми вызовами. Но и увлеченность современностью сегодня тоже изменяется. Чаплинский говорит:

«Вот этот самый альянс литературы и современности подходит к концу, та как самые интересные книги последних 10–20 лет трактуют литературу как мусоропереработку. Мусоросборник поглощает все: любую идиому, язык или стиль — высокий, низкий, научный, политический, коммерческий, интеллигентский, как и язык маргиналов, язык улицы. И все это идет в дело и показывает, каким языком располагает сегодня индивид, чтобы высказать себя. Результаты этого самовыражения занимают опустевшую нишу дискурса

единства, социальных связей — сегодня во всех своих проявлениях неясных, требующих обновления».

Комментируя свою книгу, Чаплинский добавляет:

«Я стараюсь рассказывать, какое место принадлежит литературе в очень существенной мировоззренчески и исторически дилемме, в которой мы все завязли. А именно: что делать в ситуации, когда необходимо добиться нового единения, но эта потребность высказывается (даже создается!) с помощью старых дискурсов повествовательности? (...) Этот поиск новых основ единства драматичен. Решение кажется близким, но оно требует отказа от вчерашних претензий. (...) В начале 90-х царило убеждение, что объединяющий дискурс в прозе совершенно неактуален, что общество распадается на индивидов, которые будут со всей ответственностью и одновременно с полной свободой созидать свою жизнь. После этого произошел большой поворот к объединяющему дискурсу прозы, опирающейся, как минимум, на три критерия: национальный, религиозный и сексуальный. Этот поворот литература совершила, соотнося общественную ситуацию с различными историческими событиями, такими как II Мировая война и время оккупации, конец идеологического государства, т.е. ПНР, рождение „Солидарности“, возникновение нового типа политики — парламентской демократии. Благодаря этому, как мне кажется, произошло определенное расширение объединяющего художественного дискурса. Но этому сопутствует острый конфликт, касающийся принципов самого единения: для одних одно должно происходить на основе количественных норм, на основе большинства, для других — на основе плюрализма, подвижных множественных величин. В результате поляк первого десятилетия XXI века „мультиплицирован“ — в его сознании отсутствует единый пример общественной субъектности. (...) Я хотел поставить точку над i в том, как это очерчено литературой. Современные идеи свободы, равенства и братства литература подвергла проверке индивидуализмом. И их перекомпоновала. Она утверждает: дискурсы, которые ранее создавали общность, должны измениться, но это не значит, что следует отказаться от самих усилий достичь единства. Пора поменять дискурсы, которые строили общность, опираясь на идеи целостного общественного организма. Изменение дискурса удастся, однако, только тогда, когда многообразие станет многообразием в единстве».

Это звучит необычайно привлекательно, но одновременно аполитично — особенно сейчас, когда всё чаще заявляют о себе

дискурсы, нивелирующие национальный опыт до единообразия и утверждающие, что только одна линия национального способа бытия — мартирологическая, означенная подвигом Армии Крайовой, является правомочной, поскольку «все иные», как можно услышать в высказываниях некоторых партийных вождей, не только чужие, но и совершенно враждебные. В партийных дискурсах многообразие в принципе исключается, особенно сейчас, когда полагают, что «общественный организм», чтобы сохранить свою субстанциональную идентичность, должен быть монолитным. Признаюсь, что у меня с этим определенная проблема, так как я чувствую себя — это, понятное дело, очень субъективное чувство — наследником множества семейных дискурсов. Среди них и «роман Армии Крайовой», потому что мама участвовала в Варшавском восстании, но в системе ее жизненных координат исходным пунктом была укорененность в кашубских традициях. И что с этим поделать? Разве что попробовать написать постсовременный роман о «другой Польше» по образцу большинства ему подобных.